

АНДРЕЙ АНТИШИН

СИБИРИАДА

Радунница



Сибиряда

Андрей Антипин

Радунца

«ВЕЧЕ»

2022

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

Антипин А. А.

Радунца / А. А. Антипин — «ВЕЧЕ», 2022 — (Сибиряда)

ISBN 978-5-4484-8904-4

Новая книга известного сибирского писателя Андрея Антипина состоит из произведений, посвящённых современной русской деревне, отдалённым посёлкам севера Восточной Сибири. Герои коротких повестей и рассказов – деревенские жители, сибиряки, переживающие времена обветшания и разрушения прежнего, советского уклада. Со знанием мельчайших деталей автор описывает то, как живут люди, что становится для них непосильной ношей, а что, наоборот, крепит их на земле и какие черты сохраняются в русском человеке, несмотря ни на какие переломы и потрясения.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-8904-4

© Антипин А. А., 2022
© ВЕЧЕ, 2022

Содержание

От автора	6
Капли Марта	9
1	9
2	15
3	19
4	22
5	25
Соболь на счастье	28
Теплоход «Благовещенск»	58
1	58
2	61
3	64
4	66
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Андрей Антипин

Радуница

© Антипин А.А., 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

От автора

Родился 19 августа 1984 года в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области.

Это на реке Лене, в верхнем течении.

Родители – работники культуры. Отец одно время заведовал сельским клубом, а потом до выхода на пенсию возглавлял в нём детско-юношеский сектор. Мама – библиотекарь.

Бабка с дедом по отцовской линии, с которыми связаны мои детство и юность, – простые крестьяне, трудились в колхозе. Бабушка также работала заведующей клубом, а чуть раньше – школьным библиотекарем. (Но бабушка никогда себя так не называла, говорила об этом периоде своей жизни – «выдавала книжки». Это к слову.)

Предки по матери – из Ленинградской области. Тоже деревенские. До Великой Отечественной, спасаясь от голода, скочевали в Восточную Сибирь, где жилось посытнее. Осели на территории нынешнего Усть-Ордынского автономного округа, посреди жёлтой бурятской степи с завихренями гнилого березняка на горизонте. «Мы из России приехали!» – часто напоминала бабушка. Она работала метранпажем в районной газете, а дед – монтёром на почте.

Они, родители отца и матери, в моём сознании как бы объединили Сибирь и Центральную Россию и две условные ветви одного народа – сибиряков и россиян. В детстве я почти не встречался со своими «российскими» родственниками, и в большей мере на меня повлияли мои сибирские корни.

Дом в Подымахине (старая большая изба) стоял на месте бывшего церковного кладбища. В ограде нельзя было глубоко копать. Позже новые жильцы при углублении подвала и рытье колодца обнаруживали захоронения. Запомнился рассказ о поднятом крестьянине с православным крестом на груди и в юфтевых ичигах с сухой травой вместо стелек.

Мне было три года, когда мы переехали в Казарки. Это чуть ниже по Лене, в прямой видимости от Подымахины. Там совхозом сдавались под ключ благоустроенные двухквартирные дома для сельских специалистов, а сама деревня разрасталась во вполне себе советский посёлок с большой современной фермой, медпунктом, почтамтом, лесхозом, электростанцией и магазинами продовольственных и промышленных товаров с незабвенными для советского человека названиями «Черёмушки» и «Рябинушки».

В Казарках пошёл в новую двухэтажную школу из белого кирпича.

В школе больше всего любил уроки труда и перемены.

Трудовик Владлен Евгеньевич – бородатый приезжий кубанец с характерной хрипотцой в голосе (будто шкварчит в ночи костёр из сырых талиновых веток). В прошлом – комбайнёр. Читал на память «Реквием» Роберта Рождественского, отбивая такт рубленых строчек ударами киянки по верстаку. Из этого я чуть позже сделал заключение, что литература должна быть народной, такой, чтобы её читали на уроках труда в сельских школах.

Тогда же, в школьные годы, пристрастился к чтению. Стал и сам кропать. Это были стихи.

Сочинительству кроме любви к книгам способствовала и другая моя страсть – лес. Осенью в тайге рядом с посёлком добывал ловушками (за неимением ружья) рябчиков и тетеревов, зимой – зайцев, белок и (реже) соболей, а по пути, в перерывах между установкой петли или настораживанием кулёмки, складывал рифмованные строчки. Разумеется, о природе. Помышлял о прозе, пробовал писать первые рассказы и, несясь под сопку на своих охотничьих лыжах, никакой иной будущности не представлял, кроме как повенчанной с великим русским словом...

Что ещё?

После школы окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Тот самый, на котором пересеклись Распутин и Вампилов. Учился заочно,

работая сторожем в поселковом Доме культуры. Наверное, это самое счастливое время моей жизни.

Первая публикация случилась в 2004 году. В нескольких выпусках районной газеты напечатали рассказ «Разгулявшийся ветер». Из его названия видно, к какому направлению меня сразу повлекло. Рассказ был ученический, почти лубочный (посконный деревенский пейзаж, народные словечки, а героя, естественно, звали Иваном), и в дальнейшем не переиздавался. Но основные мотивы моей прозы были заявлены уже в нём: одиночество, русские мужики, деревня. Правда, и некоторые мои недостатки как писателя неизбежно сопровождают меня с той поры, словно сойдя с отстуканных на печатной машинке девятнадцати тетрадных страничек.

Но дебют дебютом, а так уж вышло, что начало осмысленного творчества, а лучше сказать – решительная размежёвка между стихами и прозой в пользу последней, положены другим текстом.

В августе 2005 года в два-три вечера набросал вчерне рассказ о сенокосе – «Теплоход “Благовещенск”». Со дня его появления в шестом номере иркутского альманаха «Сибирь» за 2006 год я и веду своё летоисчисление как писатель.

За прошедшие годы создано и опубликовано сравнительно немного: несколько рассказов и повестей, а также роман «Житейная история».

Всё написанное до 2011 года издано двумя книгами.

Лучшим своим считаю повесть «Дядька» и рассказ «Теплоход “Благовещенск”». Они, как и вся моя писанина, – о русском человеке, которого я, как мне кажется, знаю и в силах выразить. Точнее, они вообще о русской деревне, переживающей мучительные времена.

Оговорюсь, не могу сказать о себе как об авторе, который пишет острые тексты на тему вымирания русских деревень. Меня, в общем, больше интересует не столько процесс вымирания, сколько то, как люди, невзирая ни на что, продолжают жить. Что с ними происходит? Каким образом трансформируются их психика, обстоятельства жизни, мировоззрение, поведенческие, духовные, нравственные ориентиры? Это вымирание может не называться прямо, но ощущение его так или иначе присутствует всегда. Пожалуй, только один мой текст почти полностью о вымирании. Это повесть «Дядька».

В этом смысле, в связи с уходом многого подлинно русского, сконцентрированного в том числе (а для меня – в большей степени), в образе деревенской России, моя писательская задача – в чём?

Отвечу так: не показ вымирания, а выявление посредством художественного слова таких качеств русского человека, которые переживут всё – распад, войны, безвременье, безвластие, безбожие, вообще любой национальный, мировой, геополитический ли тупик – и, собравшись однажды из праха в некой исторической пустоте, вновь организуют языковую, этническую, физическую, культурную, нравственную, духовную общность, которую иначе как русский народ не назовёшь.

Поиску вот этих непреходящих черт русского человека посвящены мои произведения, главным образом последнего времени.

Так, в повести «Дядька», несмотря на её очевидный мрак, наряду со многими известными крайностями русского человека изображены и его несомненные достоинства. Например, крестьянская основательность. Совестьливость. Умение трудиться на земле. А самое главное – врождённая потребность воспринимать свою жизнь неотделимо от жизни государства, жить с таким сердцем, в котором, по выражению поэта, «нет раздела», пусть даже отсутствие раздела в бытовом понимании приносит несчастья, а часто и гибель (как в случае с героем повести). Зато в историческом, духовном смысле эта неразделённость рождает народ.

Поэтому никогда не соглашусь с тем, что моя писанина – чернуха, а мои герои – вырождающиеся и ничтожества...

Дабы соблюсти некий биографический канон, добавлю, что в разное время мои сочинения удостаивались литературных премий. Все они дороги мне, начиная с ранней – имени замечательного иркутского писателя-фронтовика Алексея Зверева – и заканчивая международными (Ивана Гончарова) и всероссийскими (Антон Дельвига и Виктор Астафьев). «Дороговизна» их для меня в первую очередь в том, что я ни с кем не корешился, не ручкался, не пьянствовал ради сих почестей. Никто не толкал меня в спину, продвигая в ущерб гораздо более достойным претендентам, ни один не носился со мной как с писаной торбой, употребляя всё своё влияние в смысле блата и кумовства, да и сам я ни разу не был статистом в премиальных спектаклях. Эти награды, сиречь знаки профессионального отличия, возникали в моей жизни естественным образом, в чём их непреходящая ценность. А всем тем, кто желал мне добра и, может быть, тайно от меня послужил во славу моей прозы, я говорю сердечное спасибо.

И теперь – раз уж разговор получился таким откровенным – совсем личное. Очень кратко.

Мне тридцать семь. Я написал четыре книги, побывал в качестве писателя на литературных хуралах в Китае, в Палестине, в Париже и в дюжине российских городов. Я посадил изрядное количество деревьев, построил достаточно бань, крылец, заборов, сеновалов, нужников и сараев. Семью, правда, не создал, детей не породил. Но никого и не предал, кроме своих родителей, которые возлагали на меня большие надежды. Я не боюсь молчания, скепсиса, читательского равнодушия. Я уже это всё пережил – и ничего, не умер, хотя временами очень хотелось. Да, я изрядно поиздержался – в том понимании, что с годами поукас во мне огонёк, словно подвернули фитиль в керосиновой лампе. Ну да зато узнал цену настоящему Слову, которое находишь в себе, преодолевая ожоговый шок отчаяния. Отныне никто не унижит меня моей писательской безвестностью.

И, пожалуй, последнее: живу в родном посёлке на берегу любимой Лены.

Всё.

Капли Марта

1

Мама легла в больницу в начале марта, и бабушка забрала мальчика в деревню. Иногда мама звонила. Голос её прилетал издалека, словно с конца длинной-предлинной трубы. Бабушка первое время, пока не разругались в пух и в прах, отвечала сама:

– Кто он хоть, доча? Командировошный? Адрес? Опеть?! Ты же обязана была проверить его документы, когда он поступил к вам в отде... Ну вертолобая же ты! – И, передав трубку мальчику, скорее к жёлтому шифоньеру за капельками в бутылёчке из тёмного стекла.

И всегда мамины звонки заканчивались одним. Мальчик звал её приехать и, конечно, пускал слезу. На том конце тоже хлюпало, а потом сыпались короткие гудки: курлы! курлы! Как песня осенних журавлей. Их было так много, что если бы все собрать в стаю и заставить разом заплакать, то мама с бабушкой ужаснулись бы: сколько мальчик перенёс из-за них горя! Но, кроме него, никто этих брошенных мамой гудочков не слышал, и поэтому ни одна душа не ведала о приключившейся с ним беде. И мальчик, брякнув трубкой о телефон, выворачивал красный мокрый рот с синими прожилками вен:

– К маме хочу-у-у! Пусть она меня заберё-о-от!

Набрав из пузырьрёчка в рот, бабушка обыкновенно сидела в прихожей. За окошком ронялись с крыши первые сосульки и, звенькнув о бельевую проволоку, разбивались о тротуар. Старуха устало смотрела на белый свет, и только капельки, собранные под губой, не давали ей выпустить гнев.

– К маме хочешь своей?! С баушкой тебе плохо, которая исть-пить даёт?! А-а, шуруй на все четыре стороны! – сглотнув капельки, жалила Клавдия Еремеевна.

Но и она была не из жести:

– Приедет твоя мамка, привезёт тебе о-от такого коняку! Тогда и скачите с ней на пару, моэть, головёнку свернёте...

Не найдя мамы, мальчик забирался к старухе на колени. И Клавдия Еремеевна замолкала, сцепив потрескавшиеся грубые руки у мальчика на животе. На голову мальчику то и дело падали капельки, которые катились по старухиным щекам и свисали с дрожащего подбородка. Но если мальчик заливался во всё горло, то бабушкина печаль была неслышна. Губами, будто жующими зёрна, тоненьким шипящим свистом да вот этими капельками иссыкала бабушка...

Накануне мама позвонила рано-рано, ещё дремали на печке бабушкины чепарухи. Соскочив с кровати, мальчик попробовал отвоевать телефонную трубку и даже лягнул старуху, но Клавдия Еремеевна быстро укротила его подзатыльником. Добавила бы ещё, если бы мальчик не зауросил и не убежал в кухню, чтобы пялиться в окно на проулок и ковырять пальцем утреннюю сизую скорлупу, обметавшую стёкла.

Как уж он учуял, но только в шкафу обнаружили скрытые от него яблоки – три штуки в газетном кульке! Вот тогда-то он и сгрыз одно, а семечки воткнул в цветочный горшок, чтобы разрослись и задавили бабкину херань. К осени у него будут свои яблоки, из которых он, так и быть, вернёт этой жадной старухе одно. А может, и два! Только он вытер испачканные руки о бабушкин передник, висевший на гвоздке, как приковыляла, заваливаясь набок, больше не любимая им старуха. На удивление, после разговора с мамой она была радостная и просветлённая, точно умытая снегом. Она не дала ему взбучку за съеденное яблоко, о пропаже которого догадалась по обёртке у печки.

– Слупил уже?! Ничё-ё, ешь на здоровье! Скоро и хлебной корочки не увидишь... – Она даже погладила мальчика, понюхав его волосы. И он снова полюбил бабушку.

– А почему, баба, я даже корочки не увижу? – когда бабушкины руки отдохновенно легли у него на голове, спросил мальчик. Но бабушка промолчала.

Оставшийся день Клавдия Еремеевна напевала старинное и тягучее. Там был и «красный сарафан», не шить который умоляла распоясавшаяся старуха свою матушку, и «камаринский мужик», что напился, наверное, с другими мужиками на угоре, и «берёзка во поле», где стоялись деревенские трактористы, и «сени мои, сени»... (О сених-то чего петь! Вон они – толкни дверь плечом – сумрачные, в белых куржаках по углам, несмотря на весну... Вмиг окочуришься!)

А потом пошло-поехало – как на майские праздники лёд в Лене – совсем печальное. Не только у бабушки, но и у мальчика, крутившегося под ногами, глаза были на мокром месте. А когда они в последний раз там были без хорошей-то выволочки?! Такая песня велась тяжело, словно несла её бабушка на закорках, с расстановкой – когда «в горку», а «под горку» – с широким вольным заламыванием руки, которую Клавдия Еремеевна откидывала на сторону, точно занесённое для гребка весло, а потом росчерком ласточкиного крыла стремительно возносила над головой:

И никто-о-о-о не узна-а-а-ет,
Где моги-и-и-и-лка-а мо-о-я-я-я-я-я...

Хорошие были песни! Только грустные. Ну да за бабушкой повелось, как умер дедушка: радуется – прикладывает к глазам платок, плачет – рот в песнях дерёт...

За песнями да вздохами бабушка почти не отпускала подзатыльников, хотя мальчик вёл себя куда как самонадеянно, и даже втихоря «насолил» картошке в кастрюльке, выставленной Клавдией Еремеевной на горячую печь.

Назавтра она разбудила его чуть свет, одела – только гляделки видать – и, полусонного, повела за ворота, покатила на трясучем автобусе с фанеркой вместо бокового стекла. Потом они скреблись по обледелой лестнице в больницу на горе, среди серебряных от изморози сосен. Было холодно, у них в деревне теплее, потому что там все топили печки и обогревали улицы. А в городе кирпич да бетон, дым только из высоченной трубы кочегарки, да и тот чёрный, вонючий, как если сунуть в топку сапог. Пока-а доскребёшься доверху, до самых облачков над крышами красных трёхэтажек... Вот и взялся инеем шарф на лице! Из рта бабушки, по-рыбьи хватавшей воздух, – тоже не бог весть что, то хрип, то кашель, а то и вовсе плевок. Запахнутая в сто одежек, похожая на шерстяной колобок, старуха едва семенила, на последнем издыхании ища нужный больничный корпус. Но мальчик, вцепившись в её руку, всё равно не поспевал, шаркал валками валенками.

В свободной от мальчика руке бабушка несла сумку. Уж чего только они не поклали в неё! И толстые пузатые картошки в лопнутых мундирах, и пупурышчатые солёные огурцы, и отваренное в луковой шелухе, мягкое, как пластилин, сало – и даже два румяных с мороза яблока! Несла, конечно, одна бабушка. Но и от мальчика помощь: если бы не он, старуха и не заикнулась бы об этих яблоках! Ведь это он добрался до них в шкафу и съел одно – красное, с хрустящей корочкой! – а бабушке только и оставалось, что раскошелиться. Это он пожалел для себя другие – уж какие сладкие, слаще съеденного! – и отложил самые-самые... для мамы.

В больнице было чисто и светло-зелёно. Пахло овсяной кашей, рыбными котлетами и компотом. Там оказалось много комнат, больше, чем у них в садике, а ещё больше детского крика. Ну как в этих закоулках не заплутать? Как среди похожих, словно капли воды, каморок найти одну, где мама? Как во множестве голосов услышать её?! И зачем бабушка посадила его у двери на кожаный диван с пуговицами и приказала не уходить, а сама убрела по коридору – и как в подполье шандарахнулась... Допустим, ещё дома ему дали шоколадную конфету. Так мальчик не клячил её! Он бы лучше сам пошагал искать маму. А конфету бабушка всё равно

скормила бы ему, потому что у неё «деабед» и она может «уйти вперёд ногами», если сглотнёт лишнюю ложку сахара.

На крашенных стенах висели фотокартинки с бледными тётками и ихними кривоногими детками. Однако, задирая на лоб спадавшую ушанку, мальчик ни грамма не заинтересовался чужими мамами, поскольку своей он давно не видел, а от вида других ему хотелось чертить гвоздём по стеклу. Он бы, пожалуй, не отказался теперь от манной каши и компота (только, чур, косточки он разбивает дедушкиным молоточком сам!). Тем более конфета нагрелась в кармане, и он слизал с шуршащего фантика влажный шоколад, а бумажку случайно уронил на пол.

Тут к нему подвалил человек со скользкими руками и в смешном чепчике на голове. Спросил строго:

– Что ты здесь делаешь?

– Я? Я ничего не делаю! – ответил мальчик. И не соврал. Ведь, не дождавшись каши и компота, он только потрогал стоявший в углу, в деревянной тумбе, огромный, выше него, кактус, а ни одной тычки, сколько ни колол пальцев, не отломил, чтобы подложить на бабушкину табуретку, когда они уедут в деревню и мама снова позвонит...

– А это кто бросил?! – Чепчик кивнул на фантик под ногой. – Ты что, не знаешь, как себя нужно вести?

– Знаю. Нужно опустить бумажку в ведро.

– Правильно! А ты почему так не сделал, ведь есть же урна?

– Я хотел, но у вас ведро полное, и мой фантик вывалился обратно, – это была самая чистая правда. Он хотел отнести бумажку в урну...

Чепчик неожиданно засмеялся, сдирая с рук резиновые перчатки. И руки сразу стали большими и волосатыми (как у дяди Фёдора, который к ним с мамой иногда приходил).

– Это здоровая критика! – согласился Чепчик.

Едва он ушёл, как его требовательный голос загредел за стеной. Из коридора пришуршали рассерженные Веник и на длинной палке жестяная Коробочка с откидной крышкой. Крышка откинулась рядом с мальчиком, точно готовясь его сглотнуть, Веник метнул. И бумажка от бабушкиной конфеты исчезла в Коробочке, которая напоследок клацнула крышкой:

– Воспитанные дети не будут бросать мусор где попало, даже если нет мусорной корзины! А этот расселся!... Из-за тебя, обмылок сопливый, наш Главный испортил мне настроение перед Восьмым мартом!

А-а! Так этот Чепчик, оказывается, самый главный у них. То-то он разорился, то-то много брал на себя!

– А разве март бывает восьмым? – осторожно спросил мальчик, следя, как бы крышечка снова не откинулась, а Веник не смахнул бы его в Коробочку. – Он, по-моему, один на свете...

– Чего?! – У Коробочки крышка поползла вниз, должно быть, от изумления, а мальчик быстро сел на диван и поджал ноги. Но Коробочка не успела его съесть: на выручку ему подошла бабушка, уже без сумки.

– Чё он тут опять натворил?! – Клавдия Еремеевна, как на врагов, прищурилась на мальчика, потом на Коробочку. – На минуту оставить нельзя!

Вид у бабушки был решительный. И Веник с Коробочкой, под которой обнаружили Коричневые Тапочки, убрались столоваться у переполненной корзины. Они с бабушкой разделись, в окошечке у Бабы с Чёрной Родинкой на Щеке обменяли свои вещи на медные жетончики (о, неравный обмен, у него только в левом кармане полушубка – четыре скелетона!) и отправились по коридору, откуда бабушка так вовремя явилась и спасла его от участи конфетных фантиков и мандариновых шкурок.

– Баба, а ты нашла маму? Нашла или нет?! – заныл мальчик. Бабушка, потыкавшись в одну, в другую дверь, в досаде застыла посреди коридора.

Так было однажды, когда мама с дядей Фёдором повели мальчика в «Мир игрушек». Там он впервые увидел на витрине и оранжевого льва из поролонa, и БелАЗ на моторчике, и ружьё с резиновой пробкой, и много чего. Дядя Фёдор не успел всего этого купить, потому что мама, цыкнув, поманила дядю Фёдора из магазина, а мальчик не уходил...

– Чего ты не говоришь со мной, баба?! Нашла маму или нет?..

Да, бабушка была сдержаннее. Она не подавала вида, что они заблудились, а когда мальчик потянул её за рукав, не упала на пол и не заколотилась в истерику.

– Тут она где-то. Мне просто одной женщине... тоже из нашей деревни... передать кое-что нужно...

– Какой женщине?

– Какой-какой! – рассердилась бабушка, отворяя очередную дверь. – Надо какой! Пристал, как сера липучая, и ничем от тебя... Здрасьте вам, дехчонки! Я сюды давеча не заглядывала? Нет? А куды я заглядывала? А-а!

Клавдия Еремеевна, насильно улыбаясь, искала мальчика глазами.

– Пошли. Эта толстомясая велела к сестре обратиться...

И Сестры, как назло, нигде не было, потому что пришёл Восьмой Март и увёл всех женщин в парикмахерские, где их «начешут-начепурят, чтоб вашего брата дурить» (бабушка хмыкнула). Бродили по опустевшей больнице, вертели головой. Глядь, возле пустой корзины, насытившись, отдыхают Веник с Коробочкой. Как раз бабушка где-то снова запропала, и мальчику сделалось скучно жить. Он брякнул крышкой Коробочки, а из неё посыпался разный мусор. Тут как тут припрыгали Коричневые Тапочки.

– Ах, вот оно что! – обрадовались Тапочки. Теперь они не были закрыты Коробочкой, и мальчик разглядел, что Коричневые Тапочки – это маленькая круглая Тётка с обиженным лицом, жгучими глазами и надкушенной сосиской в руке. От Тётки пахло вином и винегретом. – Мало того, что этот обмылок капает на меня Главному в Международный женский день, дак он ещё мусор разбрасывает! А ну-ка, пойдём!

Тётка, схватив мальчика за шиворот, поволокла его по коридору, куда давеча ушёл Чепчик, хоть мальчик и упирался валенком в пол.

– Я на вас не капал, мне нечем на вас покапать! – От потуги заворотить Тётку одежонка завернулась у него на спине, обнаружив узкие позвонки.

– Капал, капал! – мстительно приговаривала Тётка. – Ты ещё сам не понял, как ты мерзко на меня накапал! Ну ничего-о, ни-че-го-о! Щас я тоже на тебя покапаю, если этот долговязый хрен не убежал к своей дистрофине!

Тащить мальчика вредной Тётке было несподручно, так как он цеплялся за что ни попадя и «работал на публику», а затем и вовсе изноровился, пнул валенком в провисший зад. Тётка ойкнула и расцепила клешни. Мальчик драпанул по коридору, громко зовя:

– Бабушка-а! А Тётка хочет на меня пока-апать!

Благо бабушка оказалась рядом, всполошённой курицей на крик цыплёнка выскочила из-за двери – глаза горят, посошок в руке.

«Сейчас насует Тётке в душу и в дышло».

– Здесь я, Тёмка! – горласто, будто в поле, закричала Клавдия Еремеевна. – Ты куда подевался-то, я весь атаж оббегала?!

И, к обиде мальчика, так и не нанеся его обидчице урона, снова скрылась за дверью. Оттуда запричитала:

– Потерял баушку! Бежит щас, плачет: «Куда ты, говрит, баушка, подевалась от меня, я весь атаж оббегал, а тебя нигде нету...» Чё ж, как мать родная ему, ничё никогда не жалела,

не обижала, не бросала ни на кого... Вот он и не отстаёт ни на шаг, так и хватается за подол, если иду из избы... Ну где ты там? Лом поперёк сглотнул, чё ли, пройти не можешь?!

...Если бы кто-нибудь объяснил, что мама может быть такой – с провалившимся животом, но и сияющей усталыми глазами, с розовым живым комком, из своего тряпичного кулёчка вцепившимся в намятый губёнками оттопыренный сосок, который выглянул из расстёгнутой кофточки, как земляничка из травы, – то мальчик не удивился бы и, конечно, легко узнал маму! Но он не ведал, что так бывает, тем более с его личной мамой. И он не сразу вошёл в просторную комнату, где на окнах по-домашнему цвели занавески, а в склянке с водой у одной из кроватей пахли всамделишные цветы, подвязанные золотистой кудрявой ленточкой. Там, за порогом оставленного мира, куда ушёл Чепчик и где в поисках мальчика рыскала злая Тётка, он, наверное, вёл бы себя по-другому. А здесь мальчик чего-то растерялся и не увидел маму ни в одной из женщин, улыбнувшихся ему. Он уже хотел заплакать, как вдруг та, что держала Розового, со слезами окликнула его:

– Тёмка! Ты меня забыл? Ну, иди, поцелуй маму!

Конечно, он тут же вспомнил этот голос, но бабушкина ладонь нащупала его зад ещё раньше.

– Это он с холода, – объяснила Клавдия Еремеевна, а сама утрещилась на стул и, вынув из волос гребешок, стала разгребать свалывшиеся под платком седые космы. – Вот и не может признать, кто тут настоящий.

– Ну, Тёмка, чего ты?! – снова заговорила мама, зажимая пальцами мокрые ноздри. – Обними меня, сколько не виделись-то!

– Поручайся с братиком, ты его ишо не знашь, – подбадривала и бабушка. – Вишь, какой фанфарон! Будешь ему на Новый год апельсинки шелушить: себе – корки, ему – самый цимус!

– Ма-ам! Чего ты так?!

– А чё?

– Говоришь-то... как будто я нищая, не смогу детям апельсинов купить! Изначально вносишь в их отношения сумятицу.

– Чё?! – Бабушка тоже хлюпнула носом, но, как ни силилась, из глаз у неё не брызнуло. – Ничего я не вношу! Просто говорю, что, мол, иди поздоровайся...

– Нет, вносишь! Извини меня, мама, но это так.

– А-а, хоть ничё не говори!

Бабушка поджала губы и замолчала, уставясь в стену мимо всех.

– Чё ж, так и будешь стоять, как чурка?! Вишь, я сумятицу вношу, дак ты-то хоть подойди, она тебя шас обсопливит всего!

– Тёмка, помнишь: «Ехали-ехали в лес за орехами, на кочку попали...»

– Башку сломали...

– «...на гудок нажали!» – не слушая старухи, продолжала мама. – Ну подойди же! Смотри, какого тебе братишку дядя Доктор принёс...

Кроме его мамы в комнате находились ещё четыре чужих. У трёх под грудью – по такому же розовому комку. И только одна, Китиха на скрипучей койке у окна, лежала ни с чем, подобрав руками одеяло на огромном животе. Эти три румяные, как яблоки, мамы сразу понравились ему. Да и он им, видимо, тоже. И лишь лохматая Китиха, как та коридорная Тётка, была недовольна уже тем, что мальчик есть на свете:

– Пришли, разорались, и в праздник от них покоя нет!

А тут ещё розовый комок зашевелился у мамы в руках, выпустил изо рта мокрый красный сосок и захныкал, как собачоныш. Мама заулюлюкала и зацокала языком, кривляясь, как дурочка с закоулочка:

– Ай-лю-лю! Ай-лю-лю!

Забыв обиду, бабушка на плач Розового тоже заворковала, но на свой манер:

– Гляди, разошёлся, как политикан по телевизеру! Так и чешет, так и кладёт на все лопатки! Слушай-ка лучше, баушка споёт песенку.

И Клавдия Еремеевна затянула свою весёлую песенку (а когда-то, да и сейчас иногда, она пела её для мальчика!):

Как у нашего царя –
Толай! Толай!

Смеясь, мама держала Розового за локотки, а бабушка поочерёдно «топала» его кривыми ножонками, взяв их руками.

Родила богатыря
Кверху жо... (тьфу!) попой!

– Вот так учудила! – закончила бабушка, и вокруг засмеялись.

Все, но не мальчик. Он отвернулся к окну, за которым в голубом небе расшкурилась жёлтая долька, а загадочный Восьмой Март позолотил снег на берёзах. Всё равно мама не обращала на мальчика внимания и даже не взглянула на яблоки, которые бабушка выложила на тумбочку. Да и бабушка стала чужой, болтливой и льстивой, как лиса. И все кругом смеялись, даже Китиха, которая и смеяться-то не могла – глыбой вздулся её живот, – а всё равно сотрясалась, как студень, и мокро сверкала вытаращенными глазами...

И когда бабушка с улыбающимся человечком подошла к нему, шёпотом предупредив: «Смотри не зажми!», он бросился из комнаты, видя перед собой лишь свои сырые от слёз ресницы, словно лес после дождя. Кто-то уже на улице цапнул его за руку...

А потом присеменила бабушка с раскисшими красными глазами. Они сдали жетончики в окошко Бабе с Чёрной Родинкой на Щеке, грустной без цветов Восьмого Марта, и укатили в деревню.

2

Вечером, с дороги, Клавдия Еремеевна не стала наказывать его за побег, а наутро завела в угол. Сама засобиравалась на почту – «выбивать из его, паразита, алименты!» Кто этот паразит и что такое алименты, мальчик не знал, хотя имел семь неполных годков от роду. Это был солидный возраст, когда кругом всё сам: носки надеть – сам, борщ хлебать – сам, валенок швырнуть через переборку, где спит старуха, – и то сам! И всё ж таки он хныкнул для порядка, однако бабушка давно изучила каждый его выверт. Она стояла у раздевалки (самодельной деревянной вешалки с гвоздями вместо крючков) и завязывала под подбородком шерстяной платок.

– Чего ты там?!

– Ничего-о!

– Слышу, чего-о! Распустил губерни: пожалейте его, бедного!

Уже одетая, бабушка заглянула в зал, отдёрнув дверную занавеску.

– Стоишь? – любопытствовала вполне миролюбиво. – Охота, наверное, на ушах походить?

– И ничего мне не охота!

– Врёшь! – подумала. – Сказал бы, что охота, я, моэть, и отпустила бы тебя во двор... Охота?

– Не-ет!

– Ну и стой тогда, не выламывайся! – И прошагала в валенках к черно-белому телевизору, постучала ногтём в выпуклый экран. – Не вздумай включать!

– Нужен мне твой старый ящик! – буркнул мальчик, отвернувшись к стене, чтоб не видеть бабушку. – У нас ваще телевизор баще твоёго в сто раз и с пультом!

– Старый я-ящик! Ты заведи для начала такой «ящик», а потом обзывайся...

– А ты меня, бабка, к маме отправь, а то я сам сбегу!

– Чё ж ты вчера не шёл к своей маме?! Да и сдался ты ей сто лет, у ней теперь другая работа...

Клавдия Еремеевна осеклась, заморгала глазами.

– Ты давай-ка, товарищ, обдумай своё положение! – Отворив дверь и вынеся ногу за порог, старуха ещё ожидала, что он запросит прощения. – А то посмотрите, какой он! Соскочил и форкнул в дверь, только его и видали! А что у баушки сердце большое?! Что в етим городе скаженный на скаженном, так и лётают на машинёшках?! Это ему наплева-а-ать!

...Ушла, хлопнув дверью. Нарочно просеменила мимо окон, заглянув в одно: строго, нет ли соблюдают её приказ?

Но мальчик тоже был не дурак, тоже знал все старухины приёмы и стоял смиренно. Он даже скуксился и безутешно подрожал плечами, чтобы бабушка подумала, будто он на правильном пути. Наверное, бабушка так и решила, удовлетворённо кашлянула и убрела по переулку. Что чёрт её унёс не по угору, мальчик узнал из кухонного окна. К нему он прибегал всякий раз, когда требовалось определить удалённость старухи от избы и вероятность её скорого прихода, а отсюда возможность совершения какой-нибудь проказы. Но нынче что-то никакая проказа, даже самая маленькая, не могла набрести на его ум, большой не по годам.

Он пошёл бродить по избе (выйти на улицу мешала накинута на дверь сенцев плашка). От скуки выкопал из горшка семечки – посмотреть, много ли подросли за день его отсутствия яблоки, полистал книжку со слипшимися страницами, которую бабушка использовала вместо подсковородника. Притомясь от трудов, съел из кастрюли тёплую сварную картошку, обсыпав солью, зажевал мякишем, бросив к печке невкусную корку, и запил из бочки, чего бабушка ему не позволяла, говоря, что «город проклятой, чтоб ему отрыгнулось, зассял всю нашу Лену!»

Стрелка в настенных часах полезла в самую гору, а во дворе, задутым снегом, всё заволновалось, и когда мальчик придвинул к окну табуретку, от железной печной трубы, которая нагрелась и на солнце и стала плавить снег, просочилась бесцветная капля. Долго, переливаясь, висела на выступе крыши. Она как бы размышляла, упасть ли ей теперь или, дождавшись примороза, застыть, а то, полнясь другими каплями, вырасти в длинную сосулю и рассыпаться от снежка, кинутого смеющимся мальчишкой.

Вот, точно всю свою силу собрав на собственном конце, капля перевесила сама себя, перетёкши из точки опоры в точку движения, и быстро, как выплеск иглы в бабушкиной швейной машинке, промелькнула в пространстве между крышей и сугробом, тёмно-синим в тени...

Ка-ап!

Ничто не изменилось в природе, да и, наверное, никто, кроме мальчика, не подглядел, как не приметно завершилась судьба мартовской капли. Вслед за первой наворачнулись другие, зацокали в пустой цинковой ванне, поставленной бабушкой под жёлоб...

Изба, не прикрытая ни одной тучкой, смотрела стеклянными глазами за реку, на дымчатый от солнца лес, скатившийся с хребтов к мёрзлым берегам. Шифоньер вдруг засверкал, как вода в проруби в светлый морозный день, и мальчик зажмурился. Это солнце, поморгав избе, нашло незанавешенное окно. Оно юркнуло в него, но тут же и назад, умноженное в зеркале шифоньера. Однако убежать не смогло, растеклось по встречной стене, и всёсё, предназначенное небом гореть на всю ивановскую, прожигать снега и гнать ручейки, осталось в малюсенькой горнице!

За окном потемнело, капельки застыли на кончиках сосулек. Поник заречный лес. Воробьи, чистившие клювы на куче парного навоза, набросанной на задах соседнего двора, снялись и полетели под крышу...

Мальчику стало жаль пропавшее солнце. Он зашторил окно, в которое солнышко протекло в избу, а на других, наоборот, развёл занавески. И солнце, благодарно вспыхнув, вспорхнуло через стекло на фонарный столб. Снова праздник пришёл на улицу, забрызгали капельки, отряхнула снег тайга, а воробьи потянулись за прутьями сена, громко перекликаясь.

...Давно солнце ушуровало на другой конец деревни, зависло над низовскими избами. Без него посерело на сердце у мальчика, а без бабушки сделалось скучно, потому что с кем же препираться. А зеркало, вправленное в шифоньер, и вправду большое. В таком не только солнце угнездится, но и мальчик с ног до головы, если отойти к окну.

Ну, разве что босоножек не будет видно.

Он так и сделал, отошёл и принялся рассматривать себя, точно мальчишку с соседней улицы, с каким ни при какой погоде не могло быть замирения. Нет, что и говорить, он не красавец. В самом деле, разве это красиво – птичий рост, худые плечики, большая нестриженная голова с притемнившей и без того невесёлые глаза русой чёлкой? А обломанные ногти, под которыми свинья ночевала? А рёбрышки наперечёт? А грязные уши?! Ну, впрочем, уши-то ещё в субботу бабушка надраила в бане вехоткой – аж заалелись. Ну да и с чистыми ушами – разве он красавец?! Вот мама Розового и завела, что мальчик – эдакое чучело... Тьфу!

О, если бы у мальчика оказался болт в кармане, он обязательно пульнул бы им в зеркало – и бабушка ему не начальница! Что за невидаль – бабушка! Пусть она лучше идёт к этому Розовому, корчит ему рожицу, а мальчику на это наплевать! Если на то пошло, он даже может послушаться старуху и выйдет на двор, вот только ножиком скovyрнёт заложку... Не надо было его заирать, как преступника!

На этот раз бабушка оказалась умнее, и мало того что накинула плашку на петлю, так ещё и застопорила щепкой.

Ну да и это не проблема! Надо приотворить дверь (благо щеколда позволяет), а в щель просунуть лезвие ножа и поддеть плашку, одновременно стукнув по двери – щепка и вывалится. Раз... и всё!

А во дворе хорошо! Липнут, как из теста, снежки, пахнет тёплым деревом и проталиной, влажны прутья метлы, уткнутой черенком в сугроб у крыльца! С крыши сорятся серебряные семечки, тюкают клювиками рыхлый снег у завалинки, где глубокие норки, будто неизвестные птицы искали чего-то себе на поживу. От тротуара, от поленницы, от избы отслаивается сизый воздух. Поля за огородом, сосняк за деревней, крыша свинарника плывут в прозрачном газе и смазываются, словно картинка в калейдоскопе. Далеко в поле, меж бурых ковылей и репейников, спешит на свою мышиную охоту лиса, а снег за её хвостом-помелом вздымается и рассеивается огненной пылью. Да что лиса! Весна бежит по дворам, по деревенским улицам, машет голубым хвостом, и всё вокруг мерцает кусочками разбитого зеркала...

Что же, всё время торчать на крыльце?

Можно и пройтись по двору. Это не по городу. Тут греха нет, и бабушка, вернувшись с почты, простит ему самовольный уход. Значит, не стоит торопиться и драпать со всех ног от кашля за воротами. К тому же Лётчик гопил во дворе, скакал на забор, и мальчик вышел посмотреть, не воры ли залезли в амбар, чтобы утащить дедовскую бензопилку. А так-то мальчик, конечно, никогда бы не послушался!

– Лётчик, полай! Не будешь лаять? А почему? Когда я не дал тебе косточку?! Ах та-ак! Тогда я возьму вот эту палку и кэ-эк тресну тебя по башке!

Ага, сразу забрежал, пустолайка, только я взял палку! Будешь знать, как не ла... Чего? Чего ты вцепился в мои штаны?! Пусты, ты порвёшь, а бабушка скажет, что это я... Ну вот, не пустил! Теперь бабушка даст тебе взбучки и поставит в угол. А мне как гулять с порванными штанами?! Ворота всё равно ничем не откроешь, не сиганёшь через забор и не убежишь к маме!..

Встать, разве, под крышу и попить капелек, а потом умереть, чтобы бабушка не ругала? Всё равно мама завела себе Розового, и ей не будет печально, если мальчик больше никогда к ней не придёт. А у бабушки есть капельки в аптечном пузырьке, она наберёт их в рот и переживёт его отсутствие...

Бросив палку в снег, мальчик на всякий случай ещё раз осмотрел забор. Он был серый от старости, но не хотел расти вниз, давно накренился, оставаясь таким же высоким – даже тайгу за ним не видно, облака лежат сверху белым снегом... Ни за что не преодолеть, разве что на ходулях! А раз так, чего же тут думать, штаны-то всё равно не зашьёшь...

И он встал под крышу, под синие, как глаза весны, окна зала, потому что с этой стороны струилось звонче. Как будто в каждый из желобков шифера положили по пузырьчку, капроновой пробкой, проткнутой гвоздём, вниз. И вот сквозь эти дырочки медленно сорилось из пузырьков: кап! кап! кап! Лётчик, беспутный кобель, только есть да спать гораздый, высунил нос из будки и, зевнув, стал ждать, когда мальчик напьётся каплей марта и умрёт. Ну что тут было делать?! Мальчик задрал головёнку к небу, раззявил рот. Кап! Кап! Кап! – студёные капли. Он не сглатывал их сразу, а накапливал за нижней губой и медленно посасывал, как делала бабушка.

Из сосулек мигали маленькие солнца, слепили в лицо. Мальчик закрыл влажные глаза, на которые плакало с крыши, и весь превратился в ожидание, когда же капли переселят его и свалят в снег. Но капли всё не пересиливали. Только было щекотно во рту, а зубам стыло, как будто прикусил лезвие ножа. Вот сейчас! Ещё пять! Шесть! Семь капелек! – и он будет полон, упадёт сосулькой, а пока мама хватится и приедет, он уже растает и утечёт в землю, прорастёт зелёной травой. И ни одна живая душа не найдёт его! Бабка обтопчет его галошами, ссечёт тяпкой или сорвёт и швырнёт курам на потеху. Признает его только Лётчик. Но и он, подняв лапу, побрызгает на мальчика за то, что тот однажды пожалел ему косточку...

Но что это прошуршало и шлёпнулось в снег?

А-а, это капли одолели сосульку, она отломилась и спряталась от них в сугробе. Тяжёлая штука, гляди, глубоко вошла... Ну да легко всей гурьбой столкнуть несчастную сосульку!

Пусть они его попробуют победить! Вон, однако, ещё одна упала, и ещё... Последняя скрикошетила от бельевой проволоки и раскололась о тротуар, а её осколки ледяным снарядом ударили по будке, в которой дремал Лётчик. Ха-ха! Так ему и надо, не будет на него капать, как говорила та вредная Тётка в больнице.

...Солнце покренилось к лесу – пить капли с изб крайней к лесу улицы. Задрожал жестяной винт фанерного самолётника, на длинной спице закреплённого над крышей. Это ветерок подул, навёл облаков. И сразу стало сумеречно, особенно за избой, куда больше не попадал свет. Кто-то прошагал за забором, высекая острым посохом скрипучие ямки, тут же наполняющиеся тёмной водой. Так и бабка скоро привалит с почты, даром что опять, поди, наведала по пути и Настасью Филипповну, и сестрениц Сентябрину с Октябрьиной, и бабушку Степаниду с дедушкой Анантием, которому сто лет в обед, и белая борода давно выросла в рот, в нос, в фиолетовые уши...

Идти, что ли, домой? Не то ведь и убить может сосулькой, как одну городскую старуху прошлой весной.

3

К вечеру обдало жаром, как из печки.

– Берёсту поднести – вспыхнет! – охнула бабушка, потрогав мальчику лоб. – Ну-ка, брысь в постель!

Она запахла его дедушкиной душистой шубой, ради такого случая принесённой из амбара. Неуклюжей каракатицей сползала в подпол за редькой. Разрезала на половинки, в одной выковыряла ямку, вложила в неё ложку мёда и, прикрыв другой, посадила на блюдце в протопленную русскую печь.

– Завтре даст сок, будешь пить три раза в день, вся хворь из тебя выйдет! – суетилась, кружила в мягких валенках. – И в какую пору успел остыть? Я, главное дело, уходила, дак ничем ничего, а пришла – ка-хы! ка-хы! Как старичонка курящий! То и Катеринку, внучку Настасьи Филипповны, прохватило: цырлы на таких вот кублочках оденет, одежку какую-нито набросит – и ну-у прыгат, ну-у скочет по снегу, как сохатый! Ты-то ладно, от горшка два вершка. Но та-то большенькая уже, школу нынче кончает, должна понимать! Да хотя чё с них взять, мать твою привести в пример...

Он слушал да мотал на ус, но ни одному слову не чинил запрета, даже если бабушка ругала маму. И не то чтобы он боялся схлопотать за капли марта, день напролёт бежавшие с крыши, а теперь, когда углы окошек надышала изморозь, застывшие в своих пузырьёчках. Как было объяснить бабушке, что забор слишком велик и мальчик, чтобы прийти к маме синим небом, встал под капельницу и попил?! Ведь он всего лишь хотел помочь, если мама вместо него завела розового человечка и мальчик ей теперь «как собаке пятая нога» (так в запале обронила бабушка, а он подобрал). К тому же горло у него разгорелось и зудит, как будто продрали колючим ёршиком, каким бабушка скребёт сковородки, и не то что говорить, спорить со старухой – сплунуть лишний раз больно...

– И штаны, почти что новые, два раза стиранные, разорвал, как в боярку оборвался! – ворчала на другой день Клавдия Еремеевна, на широкой доске, обтянутой простынёй, утюжа бельё. – Всё-то он может: и баушке прекословить, и простуды цопать, и штаны рвать! Праильно старики говрели про таких: в поле ветер...

Одним хорошим боком неожиданно повернулась болезнь: бабушка сделалась уступчивей на его просьбы, как молодуха, летала с котомкой в магазин, всяко пичкала и баловала. Не успевала она вонзить ему под мышку холодный, словно рыбка, градусник, как уже прытью в кухню – то пошерудить в печи, то сдёрнуть плюющуюся салом сковородку с жареными картохами, а то сыпануть чай в запарник, ворчливо стучающий крышкой, да ещё умудрялась вступить с ним в перепалку: «Ну, понёс свою политику! Одного его слышно: квух-квух своей крышкой! Только я полтора полешка подкинула, а он уж закашлял-заплевал, как чахоточный...»

Вымыв и построив в шкафу вечернюю посуду – от мала до велика, от блюда до суповой тарелки, Клавдия Еремеевна сидела, сдвинув ведро, на углу лавки. В долгожданном покое пила синичьими глотками последнюю в этот день кружку чая. Порожнюю ополаскивала над тазиком и тоже подбирала ей место в ряду. Озиралась: всё ли ладно? Нет, не всё, – обвязывала тряпочкой крышку электрического самовара. «Чтобы тараканы не залезли по дырочкам», – догадывался мальчик, который не спал и всё-всё видел.

Наконец, расправившись с хозяйством, она подсаживалась к нему. И тогда начиналось! Тут тебе и про бабку Домну, «кругом себя вертавшуюся, в телка, в собаку ли превращавшуюся»; про возвращавшегося с царской службы солдата, что летал через печную трубу за ведьмой; про «баушку Петровну», иссушившую Лену-матушку – «одне брустьвера, как кости баушки Петровны, лежат»; а то про чёрта, виденного раз «дехчонкой» на речке Королихе – «сам волосатый весь, как дядька Андриян, а в зубах цигарка...»

– А Маруська где? – на шорох подсевшей бабушки откликнулся мальчик, не поворачивая головы.

Клавдия Еремеевна молчит, смотрит на месяц за окном и мерцающие от его света четвертушки стёкол в крестовой раме. Но у неё своя тяжесть на сердце: «Месяц сентябрь, по всему, сырым будет, надо картошку пораньше выкопать, а то потом колупаться в грязи, сушить под перенбаркой...» Эти неотступные от всего бабушкиного существования думы не мешают ей заботливо «паковать» мальчика, подбивая со всех сторон одеяло.

– Маруська-то? – как только сейчас доходит до неё. – А в подполе, воюет с мышами да крысами...

– И с крысами тоже? – дивится мальчик.

– Но-о!

– Дак они её поборят...

– Это Маруську-то?! Ну, парень, сказал, как в лужу! Насмешил баушку – и только... – И старуха притворно смеётся, обнажая под бледными синеватыми губами жёлтые, как застывшая смолка, но ещё крепкие зубы. – Да она сама накрутит имя хвоста! Сграбастат одну за шварник да ка-а-ак шваркнет о сусеки – все другие-то и разбегутся кто куды...

Мальчик тоже смеётся, рад, что Маруська верховодит.

– А Лёгчика сильнее?

– Ну, сильнее не сильнее, но спуску не даст, если к ней в миску сунется. А случись заварушка покрупнее, скажем, полезет Лёчик к Маруськиным котяткам, дак, пожалуй, ишо наведёт ему причесона...

– А ворона? Что ей Маруська сделает?!

Тут Клавдия Еремеевна задумывается, горкой сложив руки на коленях.

– С етой, пожалуй, не сладит, – соглашается. – Злющая птица – кто с ней свяжется? Ведьма в перьях. Мы дехчонками шарахались от них, как от прокажённых. Орут-то! Как на похоронах. От неё и Лёчик, поди, спрячется от греха...

– Ворону я не боюсь! – воинственно сжав кулачки, говорит мальчик. – Если она на меня каркнет, я возьму дедушкин посошок и ка-а-ак трахну её по башке!

– А она ещё раньше каркнет на тебя – ты и стрелишь в штаны, как с горохового супу! – подзуживает бабушка, и от глаз ветвятся морщинки, как лучики от закатного солнышка.

Зачем бабушка насмешничает над ним? Зачем роняет такие горькие, как полынь за огородом, слова?

– Не-ка, не бухну! – возмущается мальчик, и у него даже спирает дух от бабушкиной несправедливости. – Я тот раз дрался с ними! Они прилетели клювать свиные хвосты на заборе, а я их прогнал... Ты, бабка, не видала, а трёкаешь своим пустым языком!

– Дак я чем знала, парень?! Я бы знала, дак не говрела, а ты же молчишь – и я ничем ничего...

На ночь Клавдия Еремеевна напихивала прожорливую печку трескучими сырыми поленьями, аж алел разрезанной свёклой бочок буржуйки. В животе мальчика, как в печи, было сытно и тепло – тарелку dranиков со сметаной умял за ужином. И было темно, лишь в кухне горела несильная лампочка, похожая на луковку, и освещала мальчику путь до ведра...

И в этом-то луковом свете, под разговор поленьев в печи и бабушкино посапывание к мальчику стала приходить мама. Она становилась посреди комнаты, там, где отпечатались на половице зелёная звезда, – простоволосая и босая, с охапкой огненно-красных цветов, опоясанных золотистой ленточкой, и в её просторном небесно-голубом платье серебрились, словно волшебные, большие и малые булавки. И он, как на свет, тянулся к маме, не боясь обжечься о цветы, вздымался на постели, а ожившая шуба хохотала и душила его в объятьях пустых рукавов. «Мама, приди!» – просил и плакал, и пинался – будто в ватную стену. Но мама, чей тонкий лик пламенел в цветах, стояла не шелохнувшись, как травинка в тихую летнюю ночь...

– Спи, Тёмка, спи! Спи, голубь... – ворожила над ним бабушка, сев рядышком и приняв к себе на колени его растрепавшуюся головку, прикладывала полиэтиленовый кулёк со снегом...

На четвёртый день болезнь пошла на излёт, выморенная редькой и малиной, а вместе с ней исчезло видение. В носу обсохло, всякую гадость из горла вытянул отвар чистотела. Только пятки «ради профилактики» жёг горчичный порошок, насыпанный в шерстяные носки, которые бабушка то и дело смачивала в тёплой воде, а мальчик украдкой вынимал из них ноги и блаженно шевелил пальцами. Не видя мамы, он теперь всё чаще думал об отце. О нём помнилось: чёрные задиристые усы, аккуратно сведённые в скобку на подбородке, фанерные петухи, которых вырезал лобзиком, обтачивал шкуркой и красил, да любимая песенка «Уеду в деревню, заведу непременно корову...». Он и уехал, но не в деревню, а к себе на Украину, где в одиночестве несобранных вишен доживала своё горькое мать-старушка.

...Как слюда, однажды заблестело в глазах. Мальчик тайком от бабушки отвернул шубу и поднялся напиться. Глотал отмякшим горлом живые комки, но не мог погасить в себе жажду. «Ну и пусть уехал, скатертью дорога!» – кап-кап с ковшика на жестяную крышку бочки. А вот сухой выстрел – в печке лопнул еловый сучок.

Сидя под лампочкой в прихожей, бабушка с очками на носу читала какие-то бумажки и что-то помечала карандашом. «Надо завтра тащиться на почту, уплатить за анергию. И откуда столь киловатт взялось?!» – вела сама с собой беседу.

– Баб, а почему папка от нас ушёл? – Голос у мальчика окреп, и он сам испугался этой доселе неизвестной ему крепости.

Раньше он думал: на его вопросы не отвечают, потому что он ещё мал. Но вот недавно померился – на два пальца утянулся выше, судя по прошлогоднему отчерку на дверном косяке! А бабушка супит брови и жуёт шкурки на губах.

– Чё молчишь-то?!

– А я почём знаю, чё ему, долговязому, надо было! – буркнула, аккуратно складывая бумажки в специальную папочку. – Галя в собесе работала, на шее не сидела, не лаялась хуже собаки... Кто его, Тёмка, знает, по чё папка твой укатил в город этот... как он? Не наш-то теперь?..

– Дне-про-пе-тровск! – подсказал по складам, хотя раньше думал, что нипочём не выговорит. Но, видно, горе было настолько велико, что сдалось страшное слово, за которым, точно за забором, он прятался, едва спрашивали об отце.

– Вот он самый и есть. Должно, спутался с какой-нить... прости господи и укатился, только шубёнка заворачивалась.

Вешая ковш, мальчик не сразу нащупал гвоздок на стене. И снова – кап-кап на крышку. И не поймёшь, откуда...

– А мать... Она не виноватая. Ты вот тот раз убежал из родилки, мать все глаза проплакала. А разве ей можно, в её-то положении?

– А чё она смеётся, как дура?

– Это о матери-то?! – Старуха даже подпрыгнула, как будто подвели ток. Нависла пасмурным облаком, занесла руку, чтобы, как молнией, поразить насмерть. – Ка-а-ак шалбану!

– Я же сказал «как», я же не сказал «дура»! – вовремя сообразив, что отступать себе дорожке, закричал и мальчик, давая поправку бабушкиным словам.

– Ты бы ишо! – властно, но уже примирительно хмыкнула Клавдия Еремеевна и вся сдулась, опала, стала мягкой и доброй. – Ты должен сочувствие иметь, она тебя породила, истить даёт, книжки покупает. А откуда у ней в кошельке лишняя копейчонка?..

Конечно, бабушка права. Мама лезет из кожи вон, тянет его, а он... только кровь пить!

– Ладно, баба. – И вот тут-то голос его дрогнул и сломался, а трещинка наполнилась горячей слезой. – Я... я... не буду обзывать!

– Вот и ладно! Вот и добро!

4

Весна показала норы: в середине марта припекло, будто из сотен банных ковшей высыпали жаркие угли. Задымились поленницы и тротуары, а в ограду юркнули от дороги первые ручейки. Сговорившись у ворот, они окружили будку Лётчика и, сколько мальчик ни ковырял палкой под заплотом, не убегали из вольготной низины в соседний двор, со всех сторон осадив несчастного кобеля. Он забрался на крышу будки и, засыпая на солнце, лениво поглядывал за тем, как его фатеру обступает вода, а в ней отражаются звенья до блеска нашлифованной цепи...

Солнце, казалось, не сходило с вышки. На что мальчик просыпался наперёд света, даже раньше бабушкиных чепарушек, а всё равно солнце было во-он уже где, над крышей дальнего сеновала, а когда он укладывался спать, оно только-только покидало свой пост, передавая его недолгой луне, чтобы рано утром снова заступить на службу. Случалось, они встречались в небе, прочерченном зыбями облаков, – исчезающая бледная луна на западе и раскаляющееся солнце над заречным лесом. Будто две драчливые собаки на пограничье своих улиц, некоторое время косились, готовые разорвать друг друга. Шмыгнув из кровати к окну и протаяв пальцем наледь на стекле, мальчик гадал: если нагулявшее вес солнце забьёт слабенькую луну, станет ли оно светить вместо неё по ночам?

Он даже спросил об этом у бабушки, спозаранку ворочавшей кочергой в печи, но Клавдия Еремеевна была несговорчива:

– Выдумал тоже! Вот печь прогорела – это да, я уголёк не могу найти, чтоб распалил берёсту... Наверное, то и в мире будет, если луна затухнет. Кто же будет по ночам держать в небе жар?! Солнце большое, дак оно одно в запасе. Пыхнет и сторит, как спичка. Или вон, как лампочка (заколебалась покупать!). Некому тогда будет небушко, лес и речку зажигать...

Но, слушая просьбы мальчика, солнце не забарывало луну. Каждый в срок вершил свою работу: луна по ночам держала в небе жар, а солнце утром воспалялось от уголька. Снег при согласной работе двух светил чавкал под сапогами, разбрасывался грязными комочками под колёсами автомобилей, уходил вязкой кашей, которую мальчик, балуясь, хлебал совковой лопатой, и даже наполнил ею бабушкины галоши, с осени забытые под сараем. Кое-где высунулась старая мёртвая трава. Воробьи и синицы, сев в траву, чистили перья и клювы да мудрёно переговаривались, налаживая боевую связь и поглядывая, не крадётся ли из-за угла этот худущий городской мальчишка, не подцепляет ли, бандюган, на своём страшном оружии велосипедную резину, которая уже не стынет и, сглотив в кожаный зобок вытягивший на дороге камешек, аж за избу старухи Аксёнихи тянется, суля всему существу гибель и урон...

Дни держались тихие, безветренные. Редко за огородом прошелестит включенной верхушкой серый стог, дымящийся на солнце сенной лысиной, потной от стаявшего снега, который сошёл не весь и ещё висит по бокам стога в виде куржака. Но ветки берёзы под окном качались день-деньской и роняли серёжки не от ветра, а от того, что капли бойко пуляли в них с крыши, одевая их на ночь в серебряные, до ошкуренной земли, рукава. Крыша почти очистилась, только над кухней, с необветренной стороны, – надутые за долгую зиму, хмуро сведённые у трубы снежные брови, которые начинали иссякать лишь к обеду, когда пружинка в солнце накалялась докрасна.

Капать начинало часам к десяти, а замолкало в сумерках. В особенно погожие дни, когда накопленное за день тепло не успевало выстыть за вечер, случалось, проблескивало и ближе к полночи. И мальчик считал дни от капельки до капельки, от первого до последнего выплеска иглы. Ох и много бы этих капелек набралось, если бы под каждую подставить пузырёк! Но тара была только рядом с крыльцом, под обомшелым жёлобом из осинового колоды. К обеду из него шумело и кипело, как из раскупоренной бутылки шампанского. От быстрой капли в

жёлобе надувались пузыри и с клёкотом, разбрызгивая влажные перья, тесня друг друга, как в воробьиной драке, катились к обрыву, каждый стараясь наперёд других поспеть в бочку, наполненную с лихвой. Прозрачной ледяной водой заняли с бабушкой все тары в бане, а чтобы посуды не раздавило, если ночью ударит мороз, окунули в воду поленья и сверху прижали подручным грузом...

С пробуждением берёз и тополей, с перезвонами весёлых капель и журчанием ручейков заурчало, оживлённо застучало и за забором, в переулке. Это небритые хмурые мужики пилили и кололи дрова, и когда пилили – пахло бензином, а взялись колоть – раскрытым деревом. По временам они глушили обшарпанные тархтелки, зацепив зубастые стартеры резиновыми ручками за бензобаки. Садились на поставленные чурки, подложив под себя верхонки. Закуривали, передавая по кругу полыхавшую спичку, и если спичка гасла на полпути, то новую из бережливости не запалили, а, склонившись головами друг к другу и часто причмокивая, подкуривались от единственной зажжённой папиросы. Кашляли из больших корявых ртов белыми душистыми облаками...

Иногда мальчик залезал на забор и, по бабушкиному наущенью, следил за тем, чтобы мужики «не жучили водяру». Они со смехом предлагали ему то пилу, то колун, но пилу мальчик не мог завести, а колун – вознести над головой, и мужики огорчались: «А мы с тобой как с ровней...» Его работа начиналась потом, когда мужики, чинно разделив хлысты и расколов чурки, возводили длинные двурядные поленицы вдоль забора, от угла до угла. Они делались вдруг неторопливыми, отряхивались у крыльца и, скинув стежонки, шапки и валенки, в одних носках шли в избу «поговорить со старухой об одном деле»... Вот тут-то и годился мальчик. Он брал метлу и с удовольствием мёл, набирал в лопату корины, щепки и жёлтые опилки и засыпал ямки на дороге, пробуравленные весной.

Навоевавшись за день, к вечеру едва волочил ноги, вяло жевал за столом, а сев на разобранную бабушкой кровать, тут же засыпал. Сны ему никакие не показывали, крепким и сладким был его трудовой сон, так что маму он видел только днём, в своём воображении. Подумать страшно, уже вечность прошла с той поры, как они с бабушкой навестили маму в больнице! Теперь он даже не знал, как там розовый человечек, вырос ли он и сучит ли ножонками, думая куда-то удрать, и так же ли мама любит его, мальчика, или даже не думает о нём, израсходовав свою нежность и карамельки на того, на другого...

Но и мама не знала, что он из-за неё напился едких капель, и бабушка, хватаясь за сердце, лазила в подпол за редькой. А Лётчик, варначина, порвал на мальчике штаны. И что вообще весна у них в деревне, и скоро, если будет по-прежнему ясно и солнечно, синим пузырьём вздуется Лена, а там и хлынет на луга, в поля и огороды, зальёт старухин подвал и бывшую силосную яму возле электроподстанции, и мальчик будет плавать на плотках с местными ребятами, конечно, если прежде бабушка за что-нибудь не спустит с него шкуру или Лётчик совсем не загрызёт. Так что коли мама так сильно, что спасу нет, хочет приехать за ним, привезти ему игрушек и земляничного мороженого, какого не найти в здешних магазинах, то ей стоит поторопиться, пока половодье не захлестнуло мост через Казариху, а он не утонул в силосной яме, оборвавшись со склизкого плота...

Особенно ярко вырисовывалась мама в его памяти, если бабушка куда-нибудь отлучалась – спускалась ли она с фонариком в тёмный подвал перепроверять соленья, уходила ль к соседке по молоко или ковыряла на оттаявшем клочке огорода чёрную землю под рассаду. И он на час-другой оставался один в избе, в осиротевшей ограде, в пустынном и безжалостном к нему огромном мире. Бывало, что и плакал, а зеркало однообразно отражало его подрагивающие плечи, спинку стула, окно и настенные часы. От их тиканья было ещё горше, ведь рождались и умирали минута за минутой, а мамы всё не было, она жила где-то там, за горой, за рекой, да не ему навстречу раскрывались её руки, в которых он помнил каждую морщинку, не над его нечёсаной маковкой тихим месяцем склонялись её губы...

Работы на подворье прибавлялось, Клавдия Еремеевна с ног сбилась, со смертью дедушки тень и мужицкую лямку. В её отсутствие мальчик выучился разговаривать с книжкой, с часами, с кастрюлями, с горшком на окне. Однажды он невзначай выдумал, что и мама с ним, с утра до ночи, с ночи до утра следит за своим брошенным сынишкой. Уж эта-то мама жила-была только для него, и украсть её не смогла бы ни одна живая или мёртвая душа, даже бабушка, на ночь затворявшая ставни посохом! Взглянет ли мальчик спросонья в окно – мама лучится в щёлку рассветным солнышком; выбежит ли на двор – мама в палисаднике белой берёзой, машет серебряным рукавом; засмотрится ли, ложась спать, в вечернее небо – мама мигает звездой, которая больше и ярче других, ближе всех к земле, к их с бабушкой избе, к окну, из которого днём ли, вечером ли, гремела ли старуха кастрюлями в кухне или уже спала в спальне, явственно слышалось: «Горюшко ты моё луковое! – говорила мама, смеясь небесной синевой или плача серой от печной сажи капелью. – Чего выдумал, будто я поменяю тебя на кого-то другого! Да за сто тысяч лучших не отдам!»

5

Но пролетали дни, набухало весенней акварелью небо, и пахли бензином масляные подтёки на дороге, где мужики заводили свои бензопилы. Шумно хлюпались ручейки, а сумрачные старики в облезших шапках и в валенках на галошах грузили в жестяные корыта и вывозили из дворов мягкий, как масло, снег. На середине реки пролизалась и стремительно ширилась изумрудная полоса, а под ней ворочалась ярко-тёмная вода. Улицы залились велосипедным перезвоном, отголоском им с зальной тумбочки всё чаще дребезжала трубка телефона. Это звонила мама, уже не из больницы, а из дома. Бабушка беседовала с ней чинно-мирно и почти не обзывалась, однако мальчика больше это не чекрыжило. Неохотно рассказав о своём житье-бытье и до зевоты насытись бормотанием розового человечка, которого мама нарочно теребила и щекотала, он скорее прощался и первым нажимал на сброс.

– Чё ж ты, парень, с матерью ладом не поговорел? – не зная, как ей так подступиться, чтоб и «на путь наставить, и парня не обидеть», осторожно подкрадывалась бабушка. – Поди, вся в слезах...

Сдружившись с деревенскими ребятами, мальчик вскоре славно освоился и без мамы. Он лепил снеговиков, через час-другой ронявших оранжевые морковины носов, разжигал на проталинах костры, плавил в консервных банках свинец, мастерил деревянные кораблики и жевал чёрный вар... К вечеру не то что бормотание в трубке, но и самого себя забывал, так что иной раз и бабушке было не докричаться. В сумерках, замотавшись шерстяными платками – один на голове, другой на пояснице, – она объявлялась на улице с неизменным посошком в руке. Выискивая мальчика среди прочего разного народа, сиганувшего от старухиной палки кто куда горазд, хрипло кричала:

– Тёмка, домой! Кому сказала?! Ты, чё ли то, жить собрался на этой улице? Всё, завтра ни шагу!

– Ну ба-а-ба! – канючил мальчик, плетясь за Клавдией Еремеевной, усталый, голодный, с шапкой на затылке, с вымазанным сажей лицом.

Старуха, сухо покашливая, виляя в смертельную дугу согнутым телом, была непреклонна.

– Никаких «нубабов» не будет больше! Завёл манеру: встал, поел, ноги в руки – и бежать! Сиди, баушка как на углях, с больным-то сердцем, переживай, жив он или, моэть, под лёд ушёл...

И мальчик снова сидел взаперти, под надзором старухи, не спускавшей с него глаз, а если бабушка кемарила после обеда, за ним следили её раскрытые очки, положенные на тумбочку – душками к стене, стёклышками к двери.

Впрочем, таких заточений, как три недели назад, когда он убежал из родилки, не было. Иногда ему разрешалось погулять не только по дому, но и по ограде. Правда, за ворота не сунься, а не то огромные собаки порвут, и Лётчик не сорвётся с цепи, не придёт на выручку, хотя мальчик со дня их ссоры подкармливал его корочками и косточками. Но в то же время и забор стал как будто ниже – или это мальчик подрос? – а Клавдия Еремеевна частенько не показывала носа от Зинаиды Петровны, к которой уходила то наскрести извести на побелку, то отлить мурашиного спирта на какие-то свои дела... И не было ничего плохого в том, что мальчик прикатывал к воротам чурку, залезал на неё и, разоружив хитроумную бабушкину задвижку, конечно же, не к ребятам на угор, а к старухе на выручку мчал, дабы оградить от собак, и если всё-таки оказывался на угоре, то это чисто случайно...

Не скоро прощала Клавдия Еремеевна, не одно «бабуля», «любимая» и «хорошая моя» надо было истратить на впечатлительную старуху. А за воротами жизнь кипела куда бойче, чем день назад, и карусели лебедями кружили над угором, увлекая воображение чёрт-те куда,

а душу в пятки. За этими событиями, пронёсся ли он на карусели или пробовал обуздать егозливый велосипедишко, приезд мамы, сама мама и их прошлая совместная жизнь в городе, дядя Фёдор с коробкой конфет и пузырьком виноградных капель – всё понемногу откатывалось за высоченную гору, так что не сегодня-завтра могло и вовсе пропасть из виду. Между ними, вчерашними, между ним самим, который был когда-то, – и им теперешним, пролегла незримая канавка, как та трещина во льду, отделив одну жизнь от другой. Вскоре даже мечтать о маме, о будущем свидании с ней, о хорошей жизни вдвоём (раз дядя Фёдор неожиданно исчез, а Розовый родился) стало невыносимо.

И лишь иногда он вспоминал себя в вихре буден и ребяческих забот, и тогда печаль от разлуки с мамой нападала с новой силой, и мальчик всерьёз – насколько это было возможно в его возрасте – задумывался: «Всё-таки он забавный, этот Розовый! Ножонками кривыми шевелит, бежать ему, видишь, надо... Нет, если маме он глянется, тогда, пожалуй...»

Но думы эти были редкими и всё равно что чужими, как будто мальчик думал их не своей, а посторонней головой. И это изжилось, с помощью бабушки. Её исправные добрые слова, словно капли с крыши, прожёгшие лёд, отогрели наконец его загрубевшее сердце, в котором задышала первая робкая проталинка.

– Бабушка, а мама сюда его привезёт? – как-то за ужином огорошил старуху.

Клавдия Еремеевна, отложив ложку, боялась поверить. На всякий случай уточнила:

– Ты про кого?

– Да про этого... – не знал, как назвать. – В родилке-то...

– Фонбарона? На лето, моэть, и сюда привезёт. А почему спрашиваешь?

– Та-ак...

– Это, Тёмка, братик твой, – сказала очень серьёзно, раз уж он сам завёл этот разговор. – Ты теперь за старшего будешь, так ты уж приветь его, не вороти морду набок...

Да что же это?! Старуха, наверное, издевается над ним! Ведь не он же, мальчик, а этот «братик» пришёл в его жизнь и всё-всё у него отнял! Отныне розовый человечек всегда впереди: в получении апельсинок и мороженого, в поедании бабушкиных шанег и – можно не сомневаться! – в клянченье маминого внимания и любви... Как же «не вороти морду»?!

...В один из дней бабушка с утра наострилась в магазин – кончилось банное мыло. Большой прорухи в своей жизни Клавдия Еремеевна и не знала. Чего-чего, а порошков стиральных в картонных коробках и тяжёлых брусков серого проштампованного мыла в амбаре всегда было невпроворот.

– Это потому, что на тебе ни одне штаны в чистоте не держатся! То смолу с чурки соберёт, то сажей вымажется, а то в мазуту залезет! А баушка, мало что только отстиралась, опять грей воду, готовь шайки! Вот он и вышел – расход, – рассудила Клавдия Еремеевна, совсем запамятавав: амбарное, «сэсээровское» мыло ещё из дедушкиного запаса, и ничего не было удивительного, что оно закончилось. – Поешь, чай попьёшь и можешь погулять по ограде. За ворота не ходи – снова лешак потащит на лёд... Ручьи Сергей Фёдырычу в ограду не пускай, я уж осипла с его бабчей ругаться... С дверьми аккуратно, не зажими средних конечностей, а то снова твоя мама проведёт мне головомойку...

– А мама должна приехать? Когда?!

– Прива-а-алит, не беспокойся! – фыркнула Клавдия Еремеевна. – Сра-азу забудешь баушку, всю её ласку-заботу. Форкнешь в город – только твой хвост и видать!

– У меня нет хвоста! – засмеялся мальчик, недоумевая, почему бабушка разговаривает с ним, как с маленьким.

Бабушка даже бровью не повела. Наоборот, внезапно омрачилась, погружённая в какую-то неизвестную мальчику тревогу.

– Да, гвоздей в розетку не суй, мало тебя тогда шандарахнуло – пол-избы пролетел, пока стенку не встретил... Всё, я исчезла.

Только бабушка отчалила, а мальчик, слупив изжаренную с салом глазунью, горбушкой подскрёб донце сковородки и стал думать, смыться ли на карусели или залезть, например, на крышу и заткнуть трубу фанерой, как у ворот побибикала машина с жёлтой коробочкой на крыше. Во дворе рванулся Лётчик и забрехал, понёс свою политику, но, толкнув речь, тут же угомонился и приветливо заскулил. Наверное, бабка забыла деньги и вернулась на попутке...

Но под окошками, закутанная в пёстрый платок, быстро прошла с тряпичным коконом под грудью небольшого росточка женщина в пуховой куртке цвета молочной пенки. Над свёртком, который она несла бережно, как воду в ладошке, поднимался лёгкий парок – всё-таки было хоть и весеннее, но сибирское утро. Следом, стараясь поспеть наперёд и открыть дверь в сенцы, кандыбала бабушка с болтавшейся у ноги пустой сумкой.

О, и без этого парящего чуткого дыхания, без пушистой варежки у бабушкиных заблестевших глаз обо всё догадался мальчик! Лязгнув кулачком в стекло, уже не томимый никакими печальями, отнявшими у него столько счастливых дней его детства, он сорвался с придвинутой к окну табуретки и побежал, не помня потом, как миновал прихожку и сенцы, бабочкой воспарив над избяным, над сенным порогами, радостно распахнув двери и руки...

Через день они уезжали. Бабушка отвернувшись к окну и тихо плакала, и слёзы вперемешку с капельками из пузырька катились в её мокрый рот.

Шли по солнечной улице навстречу такси, проступаясь в раскисшем снегу и слушая птичью трескотню. Деревенские друзья мальчика ехали следом на велосипедах, прощаясь с ним звонками, чинно обруливая отражающие блеск спиц голубые лужи, и форсили своим умением перед его мамой, которая развязала платок и была красивой и свежей, будто берёза в палисаднике. Маленький Серёжка, начмокивая соску, спал на бабушкиных руках, как на двух перевёрнутых радугах, и ничего не видел и не слышал. И со всех стоявших в тени сараев, навесов, дровяников, куда только-только пришёл праздник, со всех крыш всё сорились, всё бежали, подпрыгивая на шляпках гвоздей, всё торопились прожечь снег целебные капли марта – последние у ранней весны, самые светлые, проморгавшиеся для счастья и любви в природе. Их теперь не замалчивали ни радость, ни горе, ни день, ни ночь.

17 января 2010 г.

Соболь на счастье

*Соболя ловить иду,
Дорогого соболя,
Соболя, похожего на ветку,
Чёрную ветку кедра
Под синим звонким инеем
В морозную ясную ночь.*

Из старых охотничьих журналов

Она, Россия, огромная. Не хватит пожарных крюков, чтобы выцарапать безвестные души с её горящего дна.

Ну, чернильная клякса на голубой ветке – разве это скребёт по сердцу?

Однако с памятной ночи, когда ему впервые был этот сон, Никита крепко усвоил: чёрный баргузин, красавец соболь, оборонит маму от беды.

* * *

Вернее, спасти маму должна была дорогая соболя шуба. Одна из тех, какие каждый год после зимы везут со всех сибирских деревень – сначала в районный заготпункт, потом в специальных опломбированных мешках на петербургский аукцион. Там шкуры соболей, лис, рысей, белок, горностаев и прочих пушных зверей раскладывают по длиннющим (может быть, на весь Петербург) торговым рядам и меняют на зелёные доллары. Тут варезку не разевай: мигом объегорят хитрые англичане и ушлые американцы, смекалистые японцы и расторопные китайцы. Да и другой иностранный люд шныряет, падкий на русские меха.

Бойко идёт купля!

На руке у нашего продавца то лиса вспыхнет золотом, то соболь осыплется нежными остинками, а то рысь взбугрится когтистой лапой.

Обратно купцы везут охотникам деньги. Много денег. Меньше, чем они заработали, ведь часть аукционного пая оседает в карманах нечистых на руку скупщиков, торгашей и другого базарного народишка. Но всё равно на одну душу при удачном раскладе выходит изрядно: на порох, муку, винишко, ребятишкам на книжки, бабе на сапоги... Особенно тому добытчику навар, кому пофартило на промысле – угодил в ловко поставленный капкан или был загнан чуткими лайками на дерево чудо-баргузин:

Баргузинский чёрный соболь
чем темнее, тем ценней.

Про него издавна говорят: чёрный как смоль; мех играет огнём, а грудка – топлёное молоко; фарт с проседью. А ему, Никите, должен был выпасть этот самый фарт, по всем статьям, непременно!..

Редкий дорогой соболь мерещился всюду: в палисаднике на берёзе, в поле на снегу, на бане с деревенскими котами... И было отчего разыгаться воображению: мама Никиты, школьная учительница, попала в беду.

Вообще-то Антонина Сергеевна не была по образованию учительницей. О, где она только не помыкалась на своём веку!

Младшей воспитательницей в детском саду (Никиты ещё не было на свете). Потом детсад закрыли, крышу разобрали, полы выломали. И мама устроилась вахтёром в совхозную контору (из этих лет Никита запомнил совок с веником в тёмной подвальной комнате, где пахло сыростью и крысами, и директора Вахтанга Киреевича, целовавшего маме руку). Месяца два-три служила сторожем-истопником в медпункте (топили большую кирпичную печь, мама читала «Роман-газету», а Никита ел хлеб с колбасой). Одну осень не отдавала пьяным мужикам мешки с комбикормом (а мужики пинали в дверь складской сторожки и обзывали маму «нашкандыркой»). Ещё какое-то время мама сидела на шее у Владислава Северяновича, свесив ножки...

Никита сидел с мамой. Отец, садясь за стол, говорил: «Пожиратели домашнего! Сели на шею и ножки свесили!» Мама, заплавав, убегала в комнату и день-другой не ела, а вместе с ней – как раньше вахтёрили на пару и топили печку – не ел Никита. «Пожиратели домашнего!» – это ещё ничего, тут не было обидного. Просто Владислав Северянович – директор лесхоза «Верхнеленский», уважаемый на селе человек, депутат местной Думы – имел в виду: Никита с мамой едят то, что покупается на деньги Владислава Северяновича, а в обмен не разбогатеют, собирая грибы и ягоды, как «все путные делают».

Действительно, в лес они с мамой не ходили. Мама блудила в трёх соснах, а Никиту одного не отпускали. Поэтому, придя из магазина, пряники и конфеты Владислав Северянович уносил к себе и прятал в нижний пенал комода. Случалось, Никита заигрывался, забывал, что они с мамой «пожиратели», и брал у отца что-нибудь. Обнаружив недоимку, Владислав Северянович развязывал полиэтиленовый кулёк и наполнял стеклянную вазочку на столе. «Как от сердца урвал!» – говорила в таких случаях мама и к вазочке не прикасалась. Однако, как большой ребёнок, Владислав Северянович сам же всё и растаскивал. И вазочка стояла пустой, и было что-то грустное в этой пустоте.

...И вот маму послали на какие-то трёхмесячные летние курсы, а с осени приняли учительницей младших классов.

Она съездила в город, запаслась ручками-линейками. И первого сентября с Никитой, который пошёл в первый класс, тоже пошла в школу. С этого дня Никита считал себя самостоятельным человеком. Он слез с шеи Владислава Северяновича, ибо шагал утром в школу, как на работу. Главное, что у мамы завелись деньги. И Никита, даже если никого не было дома, не боялся взять из сладостей всё, что ему заблагорассудится: это были мамины пряники и конфеты, ешь сколько хочешь. Тут же лежали отцовские. Их, впрочем, тоже можно было брать. Но проси разрешения или жди, когда отполовинят в вазу, а не то Владислав Северянович снова спрячет свои кульки и будет втихаря шуршать фантиками, как одинокая мышка.

Всё было бы хорошо в их с мамой налаженной жизни, но отворяй ворота беде. Сначала явились её слуги. Или даже так: промелькнули три её верные лошади. Первая называлась дефолт (это был, наверное, конь, а не лошадь. Страшный и злой, с оскаленным пенным ртом, углы которого разрывает «железная конфета»). Вторая – забастовка (это когда вздыбилась страна, рыча «РФ! РФ!», и многие не вышли на работу. Для Никиты забастовка – учителя валяют дурака, а ученики бьют баклуши). И третья лошадь – подтоварка (Никита с мамой ходят в продуктовый магазин и берут под роспись в учётной тетради). Вот эти-то слуги и привезли беду.

Она первое время не ощущалась. Ни в руки взять. Ни в лупу рассмотреть. Ни услышать, когда крадётся на цыпочках по квартире или кемарит в углу. Но она была тоже везде – в голове, в сердце, в мире. Никита и просыпался-то без будильника, только от того, что в висок начинала клеваться эта раньше него пробудившаяся мысль о беде. Окно в зимний заснеженный палисадник было серым от сумерек. Утренняя улица – тиха. И Никита вспоминал, что в мире – беда и нужно поймать соболя, не то приедут люди в чёрных кожанках и пустят под крышу красного петуха...

О, если бы кто из косных
Заметил, как, снег шевеля,
Купаются соболи в соснах,
Одетые в соболя!

– Ты скоро там? Или на Лену выехал?! – выводил его из раздумий мамин по-утреннему свежий голос.

Мама, надев передник, хлопотала у плиты. На столе – лапша в эмалированной тарелке с крышкой и стакан морковного сока. Умывшись и почистив зубы, Никита пил невкусный сок. Пялился в заледеневшее по углам окно: шапки снега, собачья конура, низенькая баня в огороде, на проволоках через двор – мёрзлое сморщенное бельё...

«Фу, какая гадость!» – Антонина Сергеевна опять пересахарила сок, Никиту подташнивало. Впрочем, подташнивание и та слабость, когда круги перед глазами, были привычны. Это повелось с тех пор, как Никита вместе с мамой стал бойкотировать Владислава Северяновича и не ел иногда весь день.

Заглянув под крышку, Никита нарочито громко заявлял:

– На глисты похоже! – И снова пил мелкими глотками, макая в стакан задубелую сушку. Сушка плавала в оранжевом озере, как спасательный круг, и не хотела размачиваться.

– Ешь, а то язва желудка прободает! – вздыхала Антонина Сергеевна. Так же она вздохнула несколько лет назад, Никита ещё был маленьким. Но усатый доктор, в поисках проглоченной ряженки смешно покатав у него по животу скользким шариком на электрическом проводке, уже заметил «отклонения». «Кашки! Кашки!» – сказал. И мама стала грустной-грустной...

– Ты же знаешь, у тебя отклонения! – опять напомнила Антонина Сергеевна.

– И я умру от рака?

– Не городи чепуху! Волосы на затылке у Антонины Сергеевны собраны резиночкой, похожей на колечко от велосипедной камеры, а большие пальцы на ногах то поднимаются, то опускаются, как бы потягиваясь после сна. И кажется, как будто это они, а не мама разговаривают с Никитой, то поддакивая ему, а то, напротив, несогласно качая головой.

– Гляди, какие у него мешки под глазами! – каждое утро говорил один палец другому. – Прямо не мешки, а мешковины какие-то, набитые сеном!

– Ага! Опять Виктория Ивановна напишет в дневнике: кормите сморчка витаминосодержащими продуктами! – соглашался второй. – Только зря морковки переводят, а их в подполье всего два ведра. Я, когда лез по лестнице, видел своими глазами...

– Я тоже видел, да ещё наперёд тебя! Я же палец на левой ноге, а хозяйка всегда сначала заносит левую ногу...

– Пусть так. Главное, опять Владиславу Северяновичу идти на поклон к деревенским старухам. А те начнут перемывать косточки хозяйке, то есть несчастной маме этого дистрофика, у которой даже морковки не родятся!

– И не говори! По всему видно: кердыкнется к весне!

И первый палец мелко-мелко посмеивался.

– А то и раньше, – кивал второй, прячась обратно в шлёпанец на случай, если бы Никита вздумал пухнуть в него сушкой или плеснуть соком.

– Папка где? – хмурился Никита, глодая сушку и рискуя сломать зуб – четвёртый слева в верхнем ряду. Он и без того шатался, как сгнивший огородный столбик, а если учесть, что нужно было ещё расквитаться с Жекой Семофором (тот вчера кинул в Никиту тухлым яйцом), то уже сейчас можно было считать этот зуб навсегда потерянным. – Спит?

– Ушёл в контору. Нынче заезжать на новую деляну... – ложка, как юла, кружилась в кастрюле, где пыжилась, отплёвывая коричневую пенку, гречневая каша. – Ты выпил?

– Выпил... А долго вы ещё бастовать будете?

Свое недовольство не смог бы объяснить и сам Никита. Даже мама не понимала, чего он такой хмурый.

– Чего ты такой хмурый? Вам же лучше, дома сидите. Красота! Я бы на твоём месте прыгала от счастья...

– Вот и прыгай! А денег сколько месяцев не платили? Опять папка скажет... Не буду я есть эту баранку, это он покупал!

– Это я покупала, а не он! Так что ешь.

– На какие тити-мити ты покупала? У тебя же никогда нет! Шиш в кармане и вошь на аркане.

– А вот это тебя не касается! Не хочешь завтракать – ноги в руки и марш на консультацию...

Консультация – это вот что: ты приходишь в гулкую пустую школу, где один только сторож, потому что учителя второй месяц клянчат свои несчастные копейки и пишут длинные письма в Москву. В школе встречаешь товарища, вдвоём идёте в кабинет физики, единственный, где никто не бастует. За столом сидит, разгадывая кроссворд, маленькая круглая старушка с добрым лицом и ямочкой на подбородке, почти такой же, какие бывают у родных бабушек. И вот эта старушка, восхвалив Сталина (который бы не допустил такого!) и попутно сообщив краткий курс истории КПСС, берёт деревянную линейку протяжённостью тридцать сантиметров. Она кладёт её на парту так, чтобы половина линейки (пятнадцать сантиметров) выступала за парту, а оставшиеся на парте пятнадцать накрывает газетой и тщательно её разглаживает. Потом твой приятель с перекошенным, как у каратиста, лицом кричит «Ки-я-я!» и бьёт по этим выдвигающимся пятнадцати ребром руки. Газете хоть бы хны, а вот линейке – кирдык! Старушка, выдержав глубокую многозначительную паузу, чтобы вы прочувствовали важность момента, достаёт другую такую же линейку, проделывает с ней и газетой ту же операцию, после чего ты тоже кричишь «Ки-я-я!» и ломаешь линейку. Сломав две единицы школьного инвентаря, с горячим желанием сокрушить ещё дюжину, вы идёте домой, портите все имеющиеся в запасе линейки, а потом раскалываете полено на лучины и упражняетесь на них. И дивитесь, сколь велика наука физика!

...В тот день Никита вернулся раньше обычного. И ещё в сенцах услышал, как Антонина Сергеевна и пришедший на обед Владислав Северянович громко спорят. Да, в их доме уже недели две-три жила беда. Устами Владислава Северяновича пилила мамино сердце, его руками трясла её за плечи. Но Никита думал: беда да беда, мало ли ссорились родители! Эко горе! И вдруг – взволнованные напряжённые голоса, доведённые до какой-то последней крайности, словно к ним подсоединили электрический проводок, и вот он теперь шипел и искрил...

– Говорил я тебе: не связывайся с этой бабкой, она тебя в долговую яму загонит! – разбрызгивался слюной Владислав Северянович. Объясняться нормально он не мог, сорвав голос в лесу. Опять же, нервы ему расшатало людское невежество, ведь отец Никиты – бессменный общественный наблюдатель на избирательном участке № 8 (на самом деле это поселковый Дом культуры, где каждую субботу катится по наклонной молодёжь. Но примерно раз в три-четыре года с вечера на воскресенье клубный сторож дядя Вася сколачивает в танцевальном зале деревянные каркасы, обтягивает жёлтой тканью, всё равно что индейские вигвамы шкурами, и завешивает вход в каждую такую кабинку раздвижными ширмочками. И вот эти «вигвамы» с установленными в них письменными столиками наблюдает Владислав Северянович, бдительно прохаживаясь туда-сюда по залу). – Говорил?!

– Говорил, говорил! – защищалась Антонина Сергеевна, грохоча сваленной в раковину посудой, на которую журчала вода из крана.

– Где ты теперь возьмёшь?! – копала, ловила вермишель в тарелке суповая ложка: есть вермишель вилок Владислав Северянович считал за пустую трату времени. – Я тебя спрашиваю?!

Вилка из руки Антонины Сергеевны бросилась обратно в мойку, обиженно звенькнув.

– Я возьму?! – следом за вилок брякнулось блюдо. – А я для себя одной брала?! – с размаху хряпнула тарелка. – А ты не ел того, что я покупала?! – забасил половник.

– Я своё ем, дура! Я твоё не ем! – взвизгнул Владислав Северянович, как будто его тоже больно бросили. Так он визжал и тогда, когда спиленное дерево пошло на него, но лишь стегнуло веткой. Владислав Северянович всё равно ездил в областной санаторий, а Роман Фёдорович, отец электрика Мухина, уехал на кладбище, потому что «глухарь» (массивный сук) долбанул Романа Фёдоровича прямо в переносицу. Это было возмездие за то, что рубили перелески рядом с Леной, в водоохранной зоне, как сказал потом старик Сослук. – И прекрати бить мою посуду!

– Тут и моя есть!

– Нету твоей! Это моя мать дарила мне на свадьбу, а твоя мамаша не дарила!

– Я тоже покупала! Где мои небьющиеся тарелки?!

– Иди, у своей бабки-коммерсантки спроси! Только сначала найди и верни ей эту сумму! А где ты возьмёшь?! Опять на моей шее сидите, бастовать затеяли!

– Тебя не спросили!

– Вы-то спро-о-сите! Ох, не я президент, а этот... карась, алкаш поганый!

– Замолчи, гундос!!! – страшно закричала Антонина Сергеевна, и почти сразу за этим кто-то тяжёлый взмыл, уронив табуретку...

Дверь из сенцев открывалась в кухню, и когда Никита вбежал, вместе с ним ворвались клубы морозного воздуха.

– Мама! Папка! Чего вы опять?! Я слышал, не врите! Не буду есть вашу китайскую лапшу и пить поганый сок! Я лучше сдохну, пусть меня язва забодает и рак сожрёт!

* * *

Бабку-коммерсантку Никита невзлюбил, едва она объявилась в их доме. Маленькая, лопоухая, в паутине морщин, с рыжей головой, похожей на облепленный склизкими водорослями береговой камень, из которого глядят на белый свет узкие щербинки...

Людмила Ивановна вела спортивный образ жизни. Обрюзгнув к старости, делала по утрам дыхательную гимнастику Стрельниковой, в церковные праздники – постилась, а общее здоровое состояние тела и духа поддерживала согласно трактатам старца Медведки, на ту пору расцветшего в печати кержачей бородой и остыло-синими глазами. Она (Никита знал из маминих рассказов) любила осень, когда можно гулять по лесу, благо имелась дача за городом. Обожала собирать грибы, чистить их весь долгий дождливый вечер и варить в большой кастрюле (даже пальцы её были жёлтые от грибов, как будто прокуренные). Любила сидеть на веранде и пить чай с малиной, закусывая мягкой булкой и глядя в окно, – само собой, с видом на реку, на её быстрые воды и заречную тайгу.

До пенсии Людмила Ивановна работала в центре метеорологических наблюдений. У неё был муж – добрейший тихий человек, её одноклассник по институту солнечно-земной физики, и три взрослые дочери. Эти были одна к одной, все в мать, – как рыжики в осеннем лесу, а младшая – как водится, самая любимая – ещё и с конопушками. И поездки на дачу совершались всей семьёй, в конце рабочей недели, с возвращением в город ранним утром в понедельник и разлётom дочерей до очередного сбора пятничным вечером у электрички.

Понедельник за понедельником (которые Людмила Ивановна ненавидела всей душой, как червивые грибы, попадавшие к ней в корзину наряду со здоровыми) – и дочери сбились в

свои собственные стаи. Не сразу на её потерянное «ау» отозвались из-за широких мужниных спин – одна (телеграммой) в Братске, другая (телефонным звонком) в Иркутске, третья – и это было горше всего – промелькнула (с фотографии) своими конопушками аж в Ессентуках, на источниках, где «Печорин угрохал Грушницкого» (так было написано на обороте). А вскоре, во время половодья провалившись под лёд, умер от крупозного воспаления лёгких Анатолий.

Но она всё равно продолжала ездить на дачу, уже одна. Дольше собирала грибы в лесу, ибо не к кому было спешить в маленький домик, чаще оставалась ночевать на даче, где всё так же пила чай на веранде. В саду умирали рябины и облепиха, а на влажном от дождя наружном стекле, как в гербарии, лежали уже мёртвые листья красного, жёлтого и багрового цвета...

Когда Людмила Ивановна впервые переступила порог их дома и всё полетело вверх тормашками, она ещё не была бабкой-коммерсанткой. С какой-то стати она наповадилась ездить к ним в деревню за грибами. И однажды Антонина Сергеевна привела её, мокрую до нитки, скоротать время до вечернего автобуса. Вот тогда-то Никита и невзлюбил Людмилу Ивановну всем сердцем, в которое грубо занозили... обиду.

Мама оставила их одних, а сама убежала на работу, шепнув Никите, чтобы покормил гостью.

– Какой интересный мальчик! – едва мама ушла, сказала Людмила Ивановна и, поправляя причёску, разгладила сырые волосы, под которыми просвечивала тусклая, как у магазинской курицы, кожа. – Ну, чем ты меня будешь потчевать?

– У нас есть суп, – развёл руками Никита, словно бы показывая, что уж чего-чего, а супа у них – как у дурака махорки. – Только вчерашний. Но он в холодильнике стоял!

– Супчик так супчик. Давай супчик!

Чашка разогретого супа (картошка, домашняя лапша, мясо, два-три колёсика моркови, чешуйка лука и веточки укропа), хлеб (три-четыре кусочка) и масло в блюде (не очень свежее, но ещё не прогорклое) – вскоре всё было на столе.

Людмила Ивановна внимательно осмотрела кушанье и только тогда осторожно ковырнула в чашке, поднесла ложку со свисающей лапшой ко рту. Проглотив, вежливо улыбнулась:

– Как вкусно! Ты варил?

– Не-ет, вы что?! Ма-ама! – воскликнул Никита, а грибница, подумав, выбрала кусочек хлеба, интеллигентно отряхнула от крошек, постучав о край хлебницы, сломала пополам и взяла половинку. На масло покосилась, но мазать не стала.

От щедрот Никита снова заглянул в холодильник, поискал по полкам. Ага! Проткнул вилкой и вынул из отпотевшей склянки солёный огурец, скрюченный, как пробитая острой рыбой. Так на вилке и подал. Однако Людмила Ивановна чего-то насупила выщипанные крашенные брови, а медленно всасывающий лапшу рот, точно шевелящий ножками паук, прицелился на Никиту из своей паутины, готовый сглотнуть, плюнуть или, по крайней мере, впутать во что-нибудь нехорошее.

– Это мне? Суп, хлеб с маслом – и солёные огурцы?! Оригина-ально!

Осилив несколько ложек, пригубив дешёвого крепкого чая (другого не было) и посидев на табуретке, осматривая бедную кухню (всё больше шкафы-кастрюли, дребезжащий «Океан» и галоши у печки), Людмила Ивановна поднялась.

– Спасибо! – сдвинула посуду на середину стола и с полной корзиной ушастых белых груздей отчалила на автобус. Но, как оказалось, не исчезла совсем...

Уже пробрасывало снегом, когда из города на имя мамы неожиданно поступила картонная коробка. То есть это было не совсем неожиданно, тем более для Антонины Сергеевны. Она для какой-то надобности съездила в город, а вернулась с загадкой на лице. Эту загадку она, видно, и сама не могла разгадать, но ни Владиславу Северяновичу, ни Никите о ней не говорила. Только всё чаще занимала телефон. Старушечий хрипотек на другом конце провода

в чём-то настойчиво убеждал её, а однажды устами Антонины Сергеевны назвался по имени (то есть, как это понимал Никита, полез грибком в кузовок его соображаловки).

– Ой, не знаю, Людмила Ивановна, не знаю! – Антонина Сергеевна не услышала скрипа приотворённой двери. – Вы как-то уж очень скоро! Раз были всего, даже нормально не поговорили, а уже такое доверие... Не пьяницы, конечно! Да так-то бы хотелось... Да какие юга, какие моря! Я даже не думаю о них. Мне бы вон Никиту одеть-обуть, а то опять нынче в школу в старье ходит. Деньги-то, сами знаете, как платят теперь... Да нет, он так-то скромный, не высказывает... Ну хочет, понятно, ребёнок... И вообще, не лишняя копейка! Нет-нет, я... это... не занималась никогда... Наверное, смогла бы, так-то разобраться... Хорошо, я подумаю... Я ещё не разговаривала с ним... Собираемся, будем бастовать, сколько можно!.. Ну, хоть заявим свои требо... А-а, кто-то к вам пришёл! Прямо на дом?! До сви...

В другой раз Антонина Сергеевна, зажав горстью дырчатый зевок трубки, громко шепнула:

– Ладно! Жду.

Назавтра водитель городского автобуса и передал им эту коробку. Дома Антонина Сергеевна торжественно поставила её на стол и, пока Владислав Северянович управлялся во дворе, полоснула острым ногтем по скотчу. Картонные створки распахнулись. В комнате запахло дыней, арбузом, яблоком, персиком, бананом и совсем диковинным фруктом – грейпфрутом.

– Во класс! – У Никиты спёрло дыхание, как будто не коробку раскрыли, а волшебный сундук, в котором остров, пальмы, солнце и много-много синей воды.

Сундук был полон жвачных резинок.

– Это мне?!

– Нос в губной помаде! – сама ошарашенная смелостью, с какой отважилась на неизвестное ей дело, только и сказала Антонина Сергеевна. – Давай теперь считать, сколько здесь. Чур, не обманывать!

– Зашиби-ись! – не унимался Никита, готов был от радости стоять на голове. – Во ништяковская старушенция! Недаром я ей супа дал!

Он назвал имя Людмилы Ивановны, нисколько не сомневаясь, что жвачки – от неё. Однажды она юркнула на школьное крыльцо переждать ливень, а потом мама привела её к ним домой...

– Сразу видно, хороший человек! – Антонина Сергеевна сказала это таким тоном, как будто сама ещё до конца в этом вопросе не определилась и теперь искала у Никиты поддержки. – Да ведь, сынок?

Хороший-то, может, и хороший. Но зачем она прислала им эти жвачки?

– У меня триста девятнадцать. А у тебя?

– Сто восемьдесят.

– Как сто восемьдесят? В ведомости написано 400 штук!

– Я взял одну!

– Ладно, но больше так не делай. И ещё попрошу: пока не говори отцу. Я ему потом скажу... сама. Хорошо?

– Хорошо, – прожевал Никита. – А зачем они нам?

– Много будешь знать – скоро состаришься!

Никита не обиделся, тайком от мамы посматривая на жвачный вкладыш, на котором той самой ночной бабочкой, о какой кричит эстрадный кривляка, разложилась во всей своей беспутной красе городская путана. В комнате он исследовал её получше, а затем спрятал вкладыш под матрасом, чтобы никто не нашёл...

С чего бы, спрашивается, скрывать простой вкладыш?

Тётка оказалась больно интересной, затейливо придуманной буржуазным Западом. Она была одета в один купальник! Никита, конечно, слышал, что водятся такие, и даже видел их

на игральных картах у старшеклассников, но чтобы на вкладышах жевательных резинок!.. Как уж он мудрствовал-гадал, но вскоре дознался, что нужно лизнуть по наклейке – и последняя одёжка с тётки спадёт, а едва слюна обсохнет – появится снова. Главное, успевай глаза лупить да наяривать мокрым от слюны языком!

* * *

Вечером Никита сидел в детской и выполнял задание по физике, надувая ртом сочные пузыри, пока те не взрывались с брызгами. Это ничуть не отвлекало, наоборот, всячески скрашивало скучный быт формул и цифр. Он излизал вкладыш до того, что одежонка на тётке (нарисованная, как он понял, специальной тушью) в очередной раз исчезла – и уже навсегда.

Владислав Северянович ужинал, Антонина Сергеевна процеживала через марлю молоко.

– Я только попробую, чего ты взъелся сразу! Не пойдёт дело – сбегру назад. Велика потеря!

– Они таких и подыскивают, чтобы потом деньги из них качать! Они к умному-то не пойдут, а дуру колхозную за километр видят!

– Умный – это, конечно, ты? А я... Фу, опять наелся чеснока!.. Не такая уж я и дура, кое-что понимаю. Потом, надо же на что-то жить. Сколько эта катавасия продлится, будет ли толк?

– Будет, – успокоил Владислав Северянович. – Всех уволят и на улицу выбросят! Вот забастуете когда!

– Всё-таки хочу попробовать, – поворачивала на своё Антонина Сергеевна, отжимая марлю над ведром. – Кожубекова тоже с жвачек начинала – а сейчас кто? Крупный предприниматель, пожалуйста. Такими делами ворочает...

– А-а, с Кожубечихой со своей! – скрипнула дверца: Владислав Северянович закурил, выдыхая дым в печку. – Она давно в глазах упала...

– С чего это, интересно?

– Приезжала по осени картошку скупать: принимала по одной цене – сбывала в десять раз дороже. А люди раком стояли, в грязи ковырялись, сколько ещё сушили потом! Такая гниль, а непогода была, подгадил нам сёгоды боженька...

Интересно рассуждал Владислав Северянович! Если осень выпадала сухой, он говорил: «С Божьей помощью откопались!», а когда мокрой: «Подгадил боженька, испаскудилась небесная канцелярия!»

– Так ведь ей тоже платить надо! И капитану этому, на чью баржу грузили, и грузчикам, и надзор какой-то есть, наверное. Да и там, в Якутске, тоже без копейки никуда. Тем же шоферам – отстегни, не на своей же горбушке она эти мешки пёрла на рынок... То на то и выходит!

– Я согласный, не по одной цене! У них там жизненные условия и прочее. Но и с зубов шкуру драть – разве правильно? Девятьсот рэ прибыли – не хрен собачий! Вот тебе и коммерция...

Уж в чём-чём, а в этом-то Никита был согласен с отцом. Он тоже не переваривал Кожубечиху – толстую бурятку, доярку с фермы. У неё была красивая дочь Настя, а с её сыном Алдаркой он даже играл, пока они не уехали в Ростов. У Алдарки первого на селе завелись настоящие джинсы и аляска (куртка такая). Возле него хороводились другие ребята, потому что Алдарка всегда был при жвачках, а мог и американским шоколадом угостить. Правда, не за так. Сын Кожубечихи завёл моду: лень ему чистить стойки – назовёт пацанов, насулит жвачек, да ещё и командует. Он и с Никитой хотел поступить так же, и Никита даже согласился. Но когда Алдарка стал и на него покрикивать, Никита толкнул его в навоз, а сам ушёл домой. Кожубечиха вскоре нарисовалась – глаза навылупку, в руках – Алдаркина грязная куртка, из пасти слюна летит, как у бешеной собаки... И Никита, глотая слёзы (схлопотал от матери), битых полчаса корпел над тазом, шоркал да отжимал, а когда стемнело, вывесил куртку на

забор, стесняясь идти к Кожубеевым. С того случая Алдарка стал ещё больше задаваться и за жвачки, за шоколадки (а чаще за пустые обещания) переманил на свою сторону и наострил против Никиты некоторых его друзей. Они даже пытались взять штурмом поленницу, куда Никита залез с батареей из снежков, но Никита уронил на голову Алдарки полено – и Кожубеиха прискакала опять...

Ещё Антонина Сергеевна не закончила с вечерней посудой и Владислав Северянович не загасил окуроч, а Никита уже твёрдо усвоил, что его мама встала на путь коммерции и по ней (по маме) скоро тюрьма заплачет, а по ним (то есть по Никите и Владиславу Северяновичу) – голодная смерть. Нет, Никита не подслушивал! Просто слова Владислава Северяновича вспухли тугими пузырями и, закрипев от тесноты вложенных в них страшных смыслов, лопнули, как огромный жвачный шар, прогремев по всей квартире:

– По миру хочешь отправить?! Так давай, лебези перед своей... бабкой-коммерсанткой!!!

Чу! Старуха-грибница нашла своё настоящее имя, как будто и в самом деле назвалась груздём и в кузовок полезла.

О, старушка оказалась ничего себе!

Она (присев на табуретку, лепетала Антонина Сергеевна) вышла на пенсию, вместе с другими пенсионерками наладилась торговать семечками, грибами, ягодами... Скопив деньжонок, арендовала место в супермаркете («Открыла лавочку!» – определил Владислав Северянович), стала ин-ди-ви-ду-аль-ным предпринимателем («торгашом!»). Спустя год-другой ушла из-за прилавка и наняла продавца, соображая масштабнее, замахнувшись вести торг по всему району. Для этого она ездила по деревням («дураков облапошивать!»), создавала торговые точки, а продавцов для них подыскивала из местных («в кабалу загоняла!»). Так подговорила Антонину Сергеевну («нашла дуру!»), пообещав условленный процент от выручки...

Антонина Сергеевна так почтительно произнесла последнее слово, что Никита, хотя и знал о его значении из алгебры, подумал: это что-то другое – живое, правдешнее, в замшевой кепке, пузатое и важное, как директор продуктовой базы, у которого они отоваривались под расписку...

Зарплату ни отец, ни мать не видели уже восьмой месяц. Жили, как большинство в деревне, огородам. Все пустоши были разработаны и засажены картошкой, распахивались даже косогоры и межи. Картошка в деревне – это главная расчётная единица. На неё всегда можно приобрести дрова, бензин, муку, одежду. Держали и маломальское хозяйство – десяток кур да корову с телком, чью кудрявую голову в ноябре поднимали за рога и несли, капая красным на снег. Спасало, что давали в долг в магазине. Но, конечно, брали только самое нужное: крупы, макароны, чай, соль. Часто конфетки завалящей, с протёкшей ягодной прослойкой, не водилось в доме. Пельмени (покупные до ноября, до того момента, как телок подломится в ногах и упадёт с закушенным языком, – а уж дальше лепили свои) Антонина Сергеевна никогда не кидала в пустую воду, всегда присосеживала ломтики всё той же картошки.

Примерно раз в год возле сельсовета тормозила фура с американской гуманитарной помощью. Выдавали по списку:

а) жестяная, синими полосками и красными звёздами броско расцвеченная пятилитровка с растительным маслом (эти банки годились потом на детские вёдра);

б) мука в бумажных пакетах (на всякий случай смешивали с отечественной);

в) серые, как амбарная пыль, макароны;

г) непроеянный рис;

д) тушёнка (на банке усатый толстяк, а Никита переживай, как у него сложилась судьба, если на российской тушёнке – корова, лошадь или свинья);

е) сухие завтраки в трескучих завёртках (хороши в качестве хлопушек, если надуть и бацнуть кулаком)...

С американскими коробками шёл капитальный мухлёж. Те проныры, что во все времена на раздаче, тащили их домой не по одной и не по две, распределяли среди родственников, кормили тушёнкой и колбасой кошек и собак, сами брезгуя заморских яств, бог весть когда произведённых, на каких складах лежавших, в каких ржавых трюмах или вонючих грузовиках привезённых, – сначала через океан в Россию, потом в Сибирь через всю страну, до которой докатилась демократия, как пушка к месту боя, – дулом к своему народу.

В конце месяца ездили в город либо шли в местный коммерческий магазин, с которым у райсобеса была договорённость, и подтоваривались в счёт детских выплат. То есть взамен тех подачек, которые радужное государство швыряло таким, как Никита, свободным гражданам свободной страны, чтоб не сдохли от голода и не осрамили Москвы перед сытым Западом накануне очередных выборов президента РФ.

Ранней весной и поздней осенью по деревням сновали шарлатаны, всё больше кавказцы, цыгане и китайцы. Последние заполонили Сибирь, как саранча или шелкопряд. Жители Поднебесной шустро освоились в подневольной для собственного народа стране, рубили русский лес, выжигали химикатами русскую землю, заваливали русские рынки вонючим барахлом – словом, бесчинствовали как хотели. Да и все они, залётные купцы тех смутных лет, были шиты одними нитками. Скупали за бесценок или меняли на дешёвые вещи картошку, капусту, мясо, пушнину, иконы, старинные вещи. На заборах шелестели объявления о приёме «притметаф рускава бита» – правда, не нового «демократического» (ибо из того «бита» и скупать-то было нечего), а из прежнего, векового. И продавали за гроши. Наученные российской историей, потравленные реформами, из-за шкуродёрства новых хозяев жизни чаще лезли в кабалу, чем в драку, довольствуясь ширпотребом. Форсировали в синтетических, налипавших к телу футболках с огнедышащими драконами. Бросались из огня да в полымя...

В общем, скреблись по малой грусти. И Владислав Северянович, перелопатив в голове события последних лет, наконец сдался:

– Ладно, торгуй, а там видно будет!

Уже лёжа в кровати и вяло пожёвывая резинку, потерявшую вкус и запах, раскисшую в едкую массу, Никита представлял, как же мама будет торговать, ведь даже счётов у неё нет! И каким образом пойдёт продажа – через переднюю дверь? Или придётся вырезать окошко в стене, навешивать решётку?..

О многом переживал Никита, радуясь будущей жизни и вместе с тем пугаясь её. Ещё о большем он успел бы подумать, если бы не уснул. Однако и в страшном, поднимающем волосы сне не увидел бы никогда, чем всё это обернётся.

* * *

Виной был вкладыш, наклеенный Никитой на спинку кровати. Точнее, не вкладыш, а тётка, излизанная на нет, не только не знавшая, чем бы прикрыться, но и тех стыдных мест, которые следовало бы прикрыть, уже не имевшая.

– Это что за гадость?! Ты где взял?! – ещё сквозь сон слышал над собой Никита.

– Что где? – Никита потянул на себя одеяло. Завозился, заматываясь до подбородка и ещё не понимая, что не просто в его разрушенное тёплое гнездо, а в их дом вошёл холод, да посильнее того, который хлынул к его ногам, когда мама сдёрнула одеяло. – Ты же дала! Сама дала, а теперь спрашивает!

– Я?! Когда-а?! Ты что врёшь?!

– Чё вру-то сразу? – обиделся Никита и сел на кровати. Спать уже не хотелось. – Кто мне разрешил взять эту жевачку? Пушкин?!

Антонина Сергеевна бросилась из детской, вынула коробку из дивана. Никита, всё ещё закутанный в одеяло и похожий на мумию, встал в дверях и смотрел, как она сначала аккуратно

разворачивала, а затем остервенело скусывала обёртки зубами. Но и в первой, и в последней жвачке были всё те же вкладыши с тётками, одна краше другой...

Когда опомнилась, было поздно: почти все жвачки раскурочила, вкладыши смяла. Тут-то схватила за голову:

– Ой, что я сделала?! Кто их теперь возьмёт? А ведь импортные, денег стоят! Это не сера какая-нибудь, что пошёл да наковырял в лесу...

Отплакав, отмотылив непутёвой головой, всех бесстыдниц сожгла в печке. Кочергой в их смрадный прах потыкала. («А то, может, они несгораемые!») Расправившись с тётками, умостила в зале прямо на пол, разделила жвачки и фантики на две горки. Сообразив, что от него требуется, Никита принёс тюбик бесцветного клея.

– Никит! Сейчас же положи эту жевачку на место! – не отрывая взгляда от капельки, свисшей с носика и уже готовой стечь на уголок фантика, контролировала ситуацию Антонина Сергеевна. – Я всё вижу!

– Каку-ую?! – строил невинные глазки Никита.

Но беспокоило Антонину Сергеевну другое:

– Мало пихаем детям что ни попадя, всякой химией пичкаем, так ещё вон как заманиваем! Ни стыда ни совести... Раньше такого не было! Никита, ну я кому сказала?! Опять полон рот! И так уже, наверное, на сколько денег изжевал...

Провозились больше часа, но без особого толку. И фантики были распечатаны абы как (нет чтобы ножичком – чик-чик! – или отпарить над самоваром!). И сверстников Никиты – основных покупателей – не обведёшь вокруг пальца (они и покупали-то жвачки ради голых тёток!). Да и высохший клей, видно...

Заглохла торговля, путём не начавшись. На что Никита в два счёта освоил нехитрую схему: спальня – комод – коробка – жвачка – покупатель – деньги – кошелек – подзатыльник (если минуешь кошелек) – а всё не было прибытка. Стал брать жвачки с собой на улицу, где бойче торговля и обмен, мало что нужно опасаться, как бы ни припёр к забору второгоник-старшак, – не фартило, да и только! А сколько сам сжевал, по два, по три кубика кладя разом в рот?! Всё равно ни в коробке не мелело, ни в кошельке не толстело. Купив жвачку и не обнаружив наклейки, всякий второй покупатель – этакий бузотёрный, с вихрем нестриженных волос крепыш – шёл на Никиту, до поры уронив кулаки. Но только до поры.

– Ты складыш закрысил, камирсан вшивый?!

– Не я, не я! – защищался Никита. – Сами токо што с мамкой увидели: а жевачки-то без складышей!

– Не ты?! А кто-о?!

– А старуха сама!

– Зачем ей, старухе?!

– Я откуда знаю?

– Тогда капусту назад!

– Резинку-то сжевал!

– Резинка без тёлок – фуфло! – резонно заявлял обманутый и поднимал кулак: – Сочишься, плесень?

– Ещё чё! Пузыри-то надувал?!

– Ты на кого бёрзаешь?! Ща ка-ак дам – у самого из носопатки красные пузыри ползут! Так что гони бабки!

Приходилось и отдавать. Хотя чаще, конечно, рубился насмерть. Непрочно сидевший зуб давно выпал, но Никита лучше бы растерял все, чем без боя вернул деньги!

Споро битый разиня-покупателешка утвердился в своих гражданских правах. Не взыскав с Никиты, держал путь к Антонине Сергеевне – а уж она-то отказать не могла, скорее бы в прорубь сиганула. Да не один шёл, а с мамашей, как с главным таранным орудием. А уж та

мамаша спустя час транслировала на всю деревню, какая обходительная и культурная училка Антонина Анохина, и только один грех есть в её жизни – с зубов шкуру дерёт, а шила в мешке утаить не может...

Сама не своя возвращалась Антонина Сергеевна с почты или из магазина. Вспоминала шёпот в очередях, укору учителей и особенно осуждающий взгляд директора школы. Зарекалась:

– Да чтобы я ещё... да хотя бы одну жевачку!..

Но ведь как-то надо было спровадить товар, тем более порченный.

– Ладно! Надо уж было, видно, сразу отказаться – а теперь-то чё? И так трезвон по всей деревне: торгашка, коммерсантка! – рассуждала назавтра, но уже с сухими глазами. – Вот продам эти жевачки (чёрт помог связаться!), а там – всё, иди оно пропадом!

Но говорилось это, скорее, нарочно – чтобы умаслить Владислава Северяновича. Ему тоже уже не раз и не два высказали за супругину торговлю, и он приходил злой, начиная лаяться ещё с порога:

– Фантики ей, видишь ли, не понравились! Чего они тебе, эти фантики? Молиться на них?! Развернул – и выбросил...

– Они выбросят, ребятишки-то! – как могла защищалась Антонина Сергеевна, хотя и чувяла правоту мужа. – Ты посмотри, как наш-то выбросил! Там тако-ое изображено!..

– Я уж видал... А как ты хотела? Взялась торгашить – про стыд забудь! Совесть... сама знаешь, куда засунь!

Ну, кое-как сбыли в полцены. Остальное покрыли, продав три мешка картошки. В срок Антонина Сергеевна наострилась в город. Отрапортовала Владиславу Северяновичу, перебивавшему в гаманке деньги от продажи картошки, мол, едет отчитаться перед хозяйкой и завязать со всем этим предпринимательством.

– Перед «хозяйкой»... Как собака! На цепь к ней сесть не пробовала?! На́, больше не дам! – в руку не подал, положил на стол.

– Больше и не надо, Владик, есть у меня!

– И чтобы...

– Нет-нет! Да я и сама не хочу...

– Вправило, значит, мозги!

...Не вправило. Как ни божилась Антонина Сергеевна, а вечерний автобус спятился к воротам. Уже известный Никите водитель – он, видно, тоже подрабатывал у старухи-грибницы, развозил по торговым точкам товар – выгрузил несколько коробок, ещё больше прежних.

– Тарелки, – едва сдерживаясь, сказал Владислав Северянович, вскрыв одну коробку. Побарабанил по второй: – А в этой что? Тоже тарелки... Себе?

– Чего? – подогнув ногу и стоя на другой, как цапля, Антонина Сергеевна стягивала с поднятой ноги длиннющий кожаный сапог без молнии. – Вот, Владик, сапоги купила. Из саламандры...

– Старые-то износила?!

– Прямо там, у Людмилы Ивановны, выбросила в мусоропровод! У них в подъезде мусоропровод есть. Выходишь, открываешь люк...

– Себе?

– Что себе?

– Тарелки-то?!

– Почему себе? На продажу.

– Та-ак... Ты что мне утром говорила?!

Промолчала, поправляя сползшие с пальцев колготки. А Никита взял тарелку, с виду обыкновенную, и сделал вид, что читает закорючки, нацарапанные по ободку. На самом деле он притих перед бурей, ибо синяя жилка, как малый ручеёк весной, разыграла на отцовом виске,

обмётанном первой сединой, и грозила пролиться на маму половодьем слов и рук, какое ничем не удержишь, хоть все двери запирай.

Не дождавшись ответа, Владислав Северянович тоже взял тарелку. Тарелка нервно задрожала у него в руках.

– Кому они нужны? Что, у людей своих нету? Тут многие не знают, что в эти тарелки положить, а она привезла аж четыре коробки!

– Да ты посмотри, какие это тарелки, Владик! Ты ведь таких сроду не видел! Это ведь не простые тарелки!

– А какие же? Золотые?!

– Или летающие?! – подпел Никита, лишь бы превратить всё в шутку. Хотя, по правде говоря, он тоже был недоволен Антониной Сергеевной, тоже не понимал, зачем столько тарелок.

– Не-бью-щи-е-ся! – как маленьким, растолковала Антонина Сергеевна, а потом как швырнёт тарелку об пол – Никита зажмурился! А тарелка ничего, даже не треснула. – Видели? А вы говорите!

– Китайские, наверное? – удивился Владислав Северянович.

– Китайские, – оживилась и Антонина Сергеевна. – Но отличного качества. Изготовлены для этих... для их депутатов.

Тогда и Никита размахнулся китайской депутатской тарелкой и ка-ак шарахнул! Всё равно ничего, даже с краешка не откололась.

– Ну-ка, ну-ка... – Владислав Северянович со вниманием повертел тарелку в руках, будто она была не суповая, а, действительно, космическая, со сложным внутренним механизмом, – да тоже ка-ак звезданул об печку! Только извёстка посыпалась.

– Хва-атит, а то разыгрались – старый да малый!.. – для виду рассердилась Антонина Сергеевна, а у самой такое спокойствие расцвело в глазах...

Это был редкий вечер. Отец и мать были довольны друг другом, а Никита ничем не обменял их счастья. После ужина все трое сидели в кухне и обсуждали, что они купят на вырученные деньги.

А беда-то стояла за их спинами и потирала руки.

* * *

Стали торговать небьющимися депутатскими тарелками. Этим (что не бьются) приманивали первое время простаков. Дивно деревенскому: тарелка – а не расшибается!

– Зырь сюда! Она ж не бьётся, хоть кувалдой колоти! – следуя за матерью, объяснял Никита (разумеется, не покупательнице, а её настырному сынку, свистнув того в сторонку). – Ну, берёшь, чурка с глазами?!

– На фиг они мне упали! – по-взрослому отвечали Никите.

– Ну и чеши отсюда! Ещё покажись на моей улице!

Но и тарелками скоро «наводнили рынок». Так выразилась Людмила Ивановна, которая звонила едва ли не каждый вечер, регулируя торговый процесс. Нереализованные тарелки Антонина Сергеевна отправила назад, взамен наполучала всякого шмутья. Брюки, кофты, сорочки, носки. Это шло нарасхват, где за деньги, где в долг. Антонина Сергеевна купила вместительную сумку, сложила в неё товар стопочками – стопка брюк, стопка носков, стопка носовых – и ходила по деревне, стараясь подгадать к деньгам: мясо ли совхоз продал, аванс ли медпункту подкинули, а то сельсоветским – зарплату.

Никита помогал, взявшись за вторую лямку.

– Новое поступление, девочки! Пятнадцать процентов скидка! – вместо «здрасьте» (как и учила старуха) с маху огорошивала Антонина Сергеевна, входя в учреждение, – а их негусто

в деревне, скоро все обежишь-примелькаешься. Вот только одному не могла научиться: не краснеть. – Будем смотреть?

– Джинсы со стразами есть?

– Чего?!

– Понятно...

Никите было стыдно за мать: никакого нового поступления не было. Просто, выждав неделю-другую, Антонина Сергеевна шла по тому же кругу со старыми вещами, частью разнобразив их теми, что залежались ещё с прежних привозов, да скостив процентов пять против объявленных пятнадцати.

Куда было деваться?

Антонина Сергеевна и сама истомилась, до полночи глаз не смыкала, а глаз Никиты, который тоже не спал, избегала. Он раз или два сопровождал её, но как увидел, сколь противны могут быть слова и ужимки родной матери, словно становившейся другой, едва в её руке оказывалась сумка с торгашьим бутором, так и ходить бросил, ссылаясь то на одно, то на другое. Тут ещё пацаны всё громче и обиднее кричали: «Никитос-коробейник!» и вызывали пластаться за гаражом. Синяки и ссадины не замажешь – и Антонина Сергеевна не стала его неволить, ходила торговать одна, возя свою передвижную лавочку на детских санках. Своим сердцем болела, а если чем-то свою совесть и марала, то вина была только на ней. Этим себя утешала.

В другое время люди шли сами. Негусто, но шли. Правда, покупали в основном под какие-то будущие капиталы. Если Владислав Северянович был дома, он капитулировал в кухню или на улицу. Стеснялся. Но и помалкивал: на столе не переводились колбаса, свежее масло, конфеты...

Угрызения совести приглушались, когда Антонина Сергеевна вызволяла из заначки заветную тетрадь. Сроду не руководившая большими деньгами, радовалась каждой копейке:

– Летом, отец, разберём спереди забор, соорудим балаганишко, покроем жостью, проведём свет. Свою торговлю надо начинать! Я уже пристрелялась, мало-мало понимаю...

И, удовлетворённая подсчётом, вынимала из кошелька, прежде чем заныкать обратно в комок.

– Ты бы много-то не таскала, – замечал Владислав Северянович.

– Так я всего-то одну – Никите фруктов-конфет купить!

– Смотри! Одна к другой...

Шмутьё разошлось почти без остатка. Один только прокол случился: с видом знатока ещё в первом привозе Антонина Сергеевна присмотрела Никите зимние ботинки. С меховым отворотом. Блескучие. На шнурках. Внутри – пахучие кулёчки, в которых чёрные (но не перец!) шарики.

– Вот, сносу не будет, сынок. Теперь только учись хорошо. Стыдно плохо учиться, когда тебя так разодеют!

– А если лопнут? – скрывая радость, для проформы усомнился Никита. – Алдар Кожубечихин тоже... понтовал в своих конях, а им через месяц хана пришла!

– Да они же из на-ту-раль-ной свиной кожи! Вот пойдём опять в школу, все ребяташки ахнут: ни у кого таких нет, а у тебя есть! Две-три зимы носи смело...

Две-три зимы не проносил, даже не дождался конца забастовки. А так хотелось сразить одноклассников модной обновой! Недели две, впрочем, пошиковал. А на первых морозах хваленные ботинки вздулись – и поползли кусками, вывернув кожу, которая оказалась обычным дерматином. В дранье вернулся с улицы, с глазами, полными слёз.

– Поеду, брошу через порог! – не меньше его расстроилась Антонина Сергеевна, и всё-таки обследовала каждый: не зацепился ли где за гвоздь? – Всё трещала, сорока: Турция! Турция! Вот тебе и Турция! Не буду платить за них! Пошла она к чёрту!..

Спасибо, хозяйка признала брак. А вскоре ещё несколько посылок снарядила. Никита потом и не помнил, с чем были эти коробки. Ещё бы! Посылки от старухи-грибницы приходили, как железнодорожные составы на станцию: разгрузили (распродали по деревне) один вагон (посылку) – принимались за другой, а там за третий... Конца и края не видно!

Конец, правда, вскоре замаячил. Разверзся в воображении Никиты огромным, шире крещенской проруби, нолём. Или даже так: загудел трубой, в которую они – Никита, мама и отец – должны были вылететь. Или вот – разбежался кругами, как глаза Антонины Сергеевны...

Это уже после Нового года было. На третий месяц забастовки, то есть бестолкового сидения дома, на шее у Владислава Северяновича.

Распродав праздничные побрякушки, Антонина Сергеевна снова засела за тетрадь. Сначала, напевая, складывала да вычитала с азартом, будто в морской бой играла, лихо потопляя вражеские корабли. Но затем всё перечеркнула. Нахмурилась. Сняла с книжной полки калькулятор.

– Никит! Чего это калькулятор барахлит? Новенький, месяцу нет, а уже неправильно складывает...

Встав на табуретку, Никита разряжал ёлку, укладывая игрушки и гирлянду в специальную коробку, выстеленную ватой.

— Ты, что ли, натыкал в него как-нибудь не так?

– Нет, я осторожно считал.

– Ты, может, уронил его, а он видишь какой маленький, по нему ногтем ударь, а там уже какая-нибудь пружинка сбилась, – настаивала Антонина Сергеевна.

– Да не ронял я его! – возмутился Никита, недоумевая, чего мать привязалась к нему с этим калькулятором.

О чём-то уже догадываясь, но не решаясь и самой себе признаться в своих подозрениях, Антонина Сергеевна взялась за основательную ревизию. Опрокинула одну коробку: ложки, нитки, китайские пластмассовые будильники, новогодние хлопушки и петарды... А потом к тетради: составлять цифры в столбец, тюкать по калькулятору. И снова к коробкам...

– Я тебе джемперок такой красенький брала? Брала. Так, брюки джинсовые на вырост (за брюки я вложила!)... десять пар носков тебе и отцу десять... себе кофту с пуговицами-ромбиками (всё-таки не вложила я за джемперок, а только подумала!)... колготки... само собой, сапоги... тарелки эти проклятые три (куда, дура!) комплекта... жевачек ты сколько сжевал (как задница не слиплась?) ... в магазин отдала, потом снова задолжала и снова отдала... шампанского бутылку покупали на Новый год, фруктов с конфетами... и ещё пять тысяч ты у меня просил на фотографии этого... Бруса Ли... Наталья Ивановна должна за платье и бусы... Таюрские с Верой Челомбитько во вторник принесут: тридцать одну – первая и восемнадцать сот восемьдесят пять – вторая...

Нерадостными оказались подсчёты. И всё же прежде конца неминуемого, сулимого Владиславом Северяновичем, приблизился месяц конец. День ото дня осыпался численник, а с ним спадала с лица Антонина Сергеевна. По вечерам капала в рюмку настойку пустырника, а по утрам лущила пачки с таблетками и просила фельдшера измерить давление. Вот-вот спикирует с неба бабка-коммерсантка, но уже не по грибы – по их души! Воткнёт метлу в сугроб да с корзиной войдёт в дом, да вежливо спросит: «А где мои денежки, драгоценная училка Антонина Сергеевна Анохина? Нету? Профу-у-укала? А-а! Засужу, засажу в долговую яму!...»

Так кричал Владислав Северянович. Истекал срок, в запасе оставалось всего ничего, и Антонина Сергеевна лежала пластом с выплаканными глазами.

– Ва-асимсо-о-отсо-о-ра-а-акты-ы-ыся-а-а-а-а-а-ач-чч-ч! – повторяла, как зашлась, и долго не обрывала крайнего слова, точно боялась замолчать и остаться с пустым звуком наедине. Кроме этого пустого звука от восьмисот сорока тысяч – общей выручки за последние месяцы – только жалкие гроши и затерялись на дне кошелька. – Где я их возьму, Владик?!

...Владислав Северянович мало сидел в конторе, даром что директор, чаще проводил время в лесу, среди деревьев, где «проще». Под эту простоту он старался подвести всё, чем жил не только он сам, но и весь окружавший его мир. Поэтому-то он сразу решил, что Людмила Ивановна, узнав о растрате, завопит, затопает, наймёт костоломов. А те если не зароят заживо, то либо сожгут, либо корову уведут, в общем, ошпилют как липку. Конечно, думать так основания у него были, ведь седина даётся не зря, тем более ранняя (а отцу Никиты натикало за сорок). Да и жизнь научила, особенно в последние несколько лет, когда всё в стране накренилось и рухнуло, выворотив корни. И вот уже в соседней деревне сожгли нерадивую коммерсантку, которую вот такая же Людмила Ивановна снабжала товаром, а колхозная тюхматюха возьми да сделай растрату. Заорёшь, закусаешь руки!

– Ладно, не ори! Не кусай руки-то, поздно руки-то кусать! – Владислав Северянович, слюнявя толстый прокуренный палец, с видом прокурора листал тетрадку, откуда выпорхнули стаи чёрных цифр и, каркая, сошлись над головой Антонины Сергеевны. – Локоток-то вот он где, да не укусишь!

– Чё ж не орать, Владик? Чё ж руки-то не кусать? Как быть?!

– Как быть?! А я тебе не говорил: не связывайся? А я тебя не предупреждал: попадёшь в яму и нас потянешь? Ты послушалась?! У-у, вертолобая! Правильно моя мать говорила...

– Как получилось, что такой долг большой? – остыв во дворе, попробовал понять Владислав Северянович. – Ну, пятьдесят тысяч – куда ни шло, в это я ещё могу поверить. Но откуда столько-то?!

– Как откуда?! – застонала Антонина Сергеевна. – В магазин по хлеб идти – брала, вещами – брала (а за них ведь вкладывать надо!), на электрочайник – брала, на Новый год прикупить к столу – брала...

– В гробу его видать, такой Новый год!

– ...муку – брали...

– Муку я тоже бра-ал!

– Повидло я брала. Колбасу. Консервы...

– Да не могло-о уйти на консервы восемь-от со-орок! Ты мне мозги... – Владислав Северянович захлопнул дверь, после чего голоса стали глуше, как будто накрыли колпаком. Никита без ужина (да мать и не стоговила!) зарылся в постель, нахлобучил на голову подушку, желая провалиться в тартарары, уснуть, умереть и сделать так, чтобы его уже никогда не было.

Назавтра Владислав Северянович, собираясь на работу, сказал медленным выстывшим голосом:

– Что будешь делать, где станешь искать – а только из моего дома они ничего не возьмут, имей в виду! Ты здесь ничего не наживала. Это я купил и мать моя с отцом помогали мне. Всё! Сегодня стели себе на диване...

И ушёл.

И мама Никиты, швырнув непросеянную гречку обратно в чашку, навзрыд закричала, поднялась из-за стола и так, крича, побрела, натыкаясь на стены и ничего не видя перед собой.

* * *

Беда! Вот что вынес Никита из давних вчерашних времён своего детства.

Беда – кашу так и не сварила мама.

Беда – в маминой тетрадке, как вороны наброды на снегу, – цифры, цифры, цифры. Но и кинь тетрадь в печь – всё равно беда.

Беда – Владислав Северянович опять столуется врозь.

Беда – возьмёт Никита маминого – отец хмурится, возьмёт у отца – мать вздыхает.

Беда.

Разрывайся пополам.

Пропадай на улице.

Возвращайся от друзей, говоря: «Я сыт». А лучше – не ешь. Или ешь втихушку, поровну взяв – у Владислава Северяновича молока, картошек и варёных яиц, у матери – пряников с конфетками (накликала на себя беду, а всё сладости ему покупала!). Да он бы вообще не ел! Нельзя: Антонина Сергеевна плачет – ребёнка язва забодает (а из матери своя беда слёзы сосёт!), Владислав Северянович – на дыбы: ты довела, что ребёнок не ест!..

Беда.

Беда – должники Антонины Сергеевны (а когда такое было? Сама всю жизнь в долгах как в шелках!) тянут резину, разводят руками или обходят переулком, если завидят на другом конце улице. А чем докажешь? Расписок-то не брала, хоть наказывала Людмила Ивановна да Владислав Северянович страшал. Нет, она своё твердила: деревенские, как-нибудь сочтёмся, в Африку не убегут! Да и как сунешь листок и карандаш, когда вот так же, под Христово имя, столько раз саму выручали? И как потом людям в глаза смотреть?..

Беда.

Беда – кому ни поклонилась, у всех своя беда (хотя куда тем бедам до её беды!), никто ничем помочь не может. Или не хотят, так тоже бывает. Радуетса иной, глядя, как человек унижается, стоит ни жив ни мёртв и смотрит с надеждой, а потом топчется у калитки и не ведает, куда ещё пойти. И ведь внимательно выслушают, те же родственники (что было для Никиты удивительней всего), посадят на табуретку, обо всём расспросят. А в итоге: «Ой, нет, сами на мели!» А едва ты за порог – к телефону (или на почту, или в магазин, в общем, гделюдно): «Так и так, слышали?! Коммерсантка-то наша прославленная растранижирила вещи налево-направо, полдеревни одела-обула, а сама теперь на бобах! Не сегодня-завтра приедут из города, наведут шороху! Сейчас только сидела тут, на сознание капала...»

Или уж это Никита от горя, от обиды на весь мир за маму, за её слёзы и унижения думал о людях так? Но ведь в те дни он повидал всяких. Иные уже поседели, имели добра воз и маленькую тележку, грамоты на стене. Они зарождали колхозы, боролись на полях социалистических сражений, заседали в сельсоветах, в горсоветах, маршировали на Первомай с плакатами и красными флажками в руках, гремели на партийных собраниях, а с полочки перечисляли в Фонд мира... А вот же: из-за денег готовы были по-собачьи извернуться, уткнуть нос в пятую точку! Или сказать: «Схожу к соседке, перезайму!» – и кануть в воду, похохатывать где-нибудь, рассказывая, как училка со своим обглодышем стынет на ветру, морозит сопли и слёзы...

Что же получается: отворяй ворота – это для своей беды, а от твоей беды запираются на тридцать три засова?

Беда!

Беда – как носом чуяла, что её денежки – тю-тю! – хозяйка потребовала расчёта. Ни раньше, ни позже. Будто приспичило! Но мать и в самом деле раз или два вовремя рассчиталась, а дальше всё как у того Егорки, отговорки: то треть суммы, а то ноль без палочки. Тут любой взбеленится и начнёт названивать, не смотря, какой час на дворе. У любого, не только у Антонины Сергеевны, душа в пятках спрячется от этих ночных звонков.

– Я немножко поистратилась... я позже... – когда таиться дальше стало бессмысленно, забормотала в телефонную трубку. Думала, что с коммерсантами можно так вот – по-нашему, под честное слово. – Хорошо?

– Нет, голубушка, не хорошо! – враз отрезвила старуха, как холодной водой окатила. – Как мы договаривались? Ты реализуешь товар... Так?

– Но ведь я продавала!

– Продавала, а ба́шли себе в карман! А долг платежом красен... Всё!

Как отрезала. Вынь и положи. От и до.

А сумма большая. Восемьсот сорок тысяч. Это если словами. Или 840 000, это цифрами. Их ни туда ни сюда. Каждый ноль, как колесо – а не откатишь. Как полынья – а в стужу не замёрзнет. Как бездна – а дно вот оно, уже близко! Как дыра в ничто. Как обледенелое окошко, в которое скалится чернозубая беда. В слове можно и окончание убрать (шторку задёрнуть), а тут ни одного ноля не зачеркнёшь... И ведь знала, что деньги придётся возвращать, а когда там ещё грядёт обещанная зарплата – и в самый крупный бинокль не видно! А цена в магазине – не собака, на цепь не посадишь. Вольная птаха, хоть через кого перескочит. Прыг-скок – через нужду людскую. Прыг-скок – через слёзы Никиты. Прыг-скок – через могильные холмики. Прыг-скок, прыг-скок – под дудочку коммерсанта...

Концы с концами не сведёшь! На что надеялась?

...Плачет Антонина Сергеевна. Снова убитая горем лежит, грозит напиться каких-нибудь сонных таблеток.

– Может, продашь, Владик, лес этим мужикам? Ты-то говорил, что приезжали к тебе, намекали?

– Ну уж нет, ты меня на подсудное дело не пихай! – Владислав Северянович бродил взад-вперёд по квартире, а брови, будто крылья хищной птицы, сходились и расходились у переносицы. – Меня не для того обязали лес охранять!

– Ты не один такой! И без тебя решат, выше начальники есть!

– Молчи-и! Вот так вот золотой фонд России и профукали! Ты лучше скажи, сколько уже вернули? Нисколько? Молчишь?! Ну, завернут тебе салазки!

– Мне?!

– А кому же? Не мне же. Я твоего – не ем, я своё ем!

– А пропивала я – да? Эти деньги?! Таскалась я с ними по кабакам – да? С этими деньгами?! Из дому, а не в дом волокла – да? Полные-то сумки?! – уже не страшась ничего, хрипло кричала, и ноздри её, в которые затекали слёзы, – захлёбывались, и жилы на горле – ярились и некрасиво ширились. – Когда несла, ты молча-ал, а сейчас ты ни при чём! Коне-е-ечно!

– Не ори! Пацана разбудишь, а ему завтра на консультацию!

– Вспомнил о пацане! О пацане он вспомнил! А он как щепка стал, пацан-то! Вчера опять Виктория Ивановна встретилась: поите, говорит, витаминами, покупайте больше фруктов... А на что я куплю?!

– Это не мои проблемы! Я картошку накопал, остальное меня не волнует! Мы у матери всемером росли, никаких у нас расстройств не было. Все, слава богу, живы-здоровы, никто ещё не помирал!

– Да вы-то!.. Вам хоть дерьма на лопате поднеси – всё сметёте! А Никита восприимчивый...

Напрасно взбунтовалась Антонина Сергеевна, никакого расстройства у Никиты не было. Просто Владислав Северянович нехорошо побледнел после маминых слов, а Никита шарахнулся и запнулся... За порог он запнулся, мама, а ты подумала, будто он ослаб и не может стоять на ногах! Да, худой он, худой. Кожа да кости. Одним словом, дрищ на батарейках. Опять же, мешки под глазами (немка спросила на уроке: «Анохин, что это у тебя мешки под глазами?» – «Надо», – замечательно ответил Никита. – «Зачем?!» – удивилась немка. – «А под картошку!» Немка долго протирала очки платочком). Да! – и утром он почти не ест, и в школьную столовку не ходит (потому что за столовку деньги плати, а где их найти? Никто не терял!). Зато от пола сорок пять раз отжимается, а на турнике только Вадик Портнягин больше может! Какой же Никита расстроенный?!

– Ну ка-ак, ка-а-ак возникла такая сумма?!

Молчит Антонина Сергеевна. Ей не полотенце мокрое, накинутое на лицо, не капли сердечные, набранные под губу, а тоска, беда-горе говорить мешают! Она, беда-то, дура, она зараза-то, а не мать! Её, беду, обзывай, Владислав Северянович!..

Как накопилось 840 000? Никита скажет. Он помнит. Ты не помнишь, а он помнит. Он имеет смелость помнить, а ты никогда не был смелым. О, это большая, великая смелость – помнить добро! Не каждому по плечу. Ведь за памятью добра приходит... что? Совесть. Совесть – воздать добром за добро. Это вы, захребетники бабы, талдычите: «От добра добра...» Ты, Владислав Северянович, не смог, юркнул в свой лес, как в кусты.

Так, про сумму.

Взять хотя бы то бревно. Какое? Которое лежало, замётённое снегом, под забором у дяди Миши Чуварова. Ты, заботясь о золотом фонде России – может быть, один во всём Отечестве, – не заготовил вовремя дров, а та поленничка (от собачьей будки к стожку сена) на глазах иссякала. Вот мать и сторговала у дяди Миши это бревно. Что, в полцены? Да, вполовину. Потому что дядя Миша помнил добро, а мама не раз выручала его «на пузырьёк»... Пусть бревно было с трухой внутри, пусть! Да, может, и незаконно спилил в твоём лесу. Лес, впрочем, не твой... Но дядя Миша выручил! А оставшая половина суммы ушла... знаешь кому? Тому, кто зацепил тросом и трактором протащил это бревно сто пятьдесят шесть метров – от дяди Мишиного дома к нашему. Сто двадцать пять (Никита замерял стометровой леской «Клинская») до Глеба Борисовича. От него до дяди Миши – тридцать один метр, это тебе всякий мальчишка скажет, который хотя бы раз играл в снежки с Васькой, сыном Глеба Борисовича. Сто двадцать пять да тридцать один – сколько? То-то и оно! А запросил – как если бы из лесу. Такой щетинистый, с голубыми глазами, в мазутной телогрейке. У тебя, между прочим, вальщиком работает. Егор ли, Иван ли, Петька или Гришка... Не давать ему, алкашу? Иди не дай! И вот этому чудику в перьях, этому носителю русского сознания – этому богоносцу! – мать отстегнула столько, что ахнули все! И первым ахнул дядя Миша, а за ним и ты, придя с очередной попойки у вас в лесох... То есть Никита хотел сказать – с работы. То есть ты не поверил. То есть ты не ахнул, а ухнул – как обухом по голове: «Дура!» Потом сказал: «Сам бы привёз!» (вот общий смысл твоих слов, без ругательств). Но неделя прошла – а ничего! Топились этим бревном, твои же дрова так и скрипели от ветра в лесу...

Теперь (вон, дядя Миша по улице идёт пьяненький! Его бы спросить, он бы подтвердил, как было дело!) про магазин. Тут – ясно. Тут ты не прячь глаза: сам ел-пил. Не надо, не ври, что не было такого. Противно.

Про одежду тоже нечего сказать. Носки ты и вправду швырнул обратно, а джемпер почти и не надевал...

Сегодня Никита признается в огромной маминой растрате. Да, она всё-таки купила ему тех дорогих импортных конфет в хрустящих обёртках! А ты правильно сделал, что пожалел денег, хоть Никита и теребил твой рукав: купи да купи. Вот Антонина Сергеевна и прокралась в спальню, и снова помышляла в кошельке, который к тому времени и без того истончал. Зато, и подыхая, Никита будет помнить, как прибежал в тот день с улицы и увидел на столе в детской, в которую светило солнце, переливающуюся разноцветными фантиками горку. О, как свежо, будто мартовские льдинки, зыкали те конфеты на зубах и нежно таяли во рту, проваливаясь ширившейся дырочкой, в которую сочилась ягодная патока, на всю жизнь оставив яркий свет и горький, как мамыны слёзы, вкус этого нищего праздника...

Или тот случай, когда Никита съел кусочек заплесневелого хлеба, а ночью небо стало с овчинку. Ты сказал: два пальца в рот! А мама наняла частного и повезла в больницу, где Никита пролежал со вторника до субботы. Но ещё и потом Антонина Сергеевна покупала ему фрукты и соки... А на что?!

А в общем, чего спорить-то? Всё равно не докажешь. Владислав Северянович всегда прав, а Никита... Вот только не надо дёргать его за волосы! И не замахивайся на Антонину Сергеевну своей скрученной потной рубахой! Зачем мучить их, если убить не можешь? Никита знает, что он мизгирь и трутень, зря ты брызжешь слюной:

– Иди в свою комнату, мизгирь, без тебя разберёмся! Защитник сопливый!

Он уйдёт в свою комнату. Но вдвоём с мамой!

Они спрячутся от тебя, возведут баррикады из кресла и стульев, а вместо дверной заложки Никита воткнёт за наличник железные ножницы. И будут сидеть тихо-тихо, слушая стук своих сердец и медвежьи шаги в квартире. Бряканье сковородок в кухне. Битьё небьющейся посуды... О, в такие минуты Владислав Северянович ненавидел китайские тарелки, пожалуй, даже больше, чем свою жену! Она могла упасть и не встать после удара, а суповая тарелка плевала на всё, лягушонком отпрыгивая от пола, от стенки, от печки, от двери... За ней скрылись пожиратели домашнего и дрожат, Антонина Сергеевна воеет белугой, а Никита сжимает кулачки, хоть они безвредны даже для мухи! И сколько бы Владислав Северянович ни подковывал голос, сколько бы ни чокался один на один с бутылкой, которую вызволял из тайника всякий раз, когда нужно было кому-то поплакаться, как бы ни скребся к ним, как бы – уже вялый, тягучий – ни проклинал Антонину Сергеевну и ни грозил сломать дверь – всё равно Никита не купится на его овечье бляенье, всё равно не отдаст своей мамы!

* * *

То всё присказка была, а сказка вот она.

В назначенный срок Антонина Сергеевна денег не вернула. Уж она обрыскала всю деревню, взяла, можно сказать, в шахматном порядке каждый дом, каждого должника, но едва ли скоробчила и треть суммы. Обзвонила дальних родственников, ну да какие теперь у людей деньги? Слезы одни. Куда метнуться? К кому? К свекрови только, у неё есть на чёрный день, но... Боже упаси! Проще огонь пройти, воду, медные трубы, чёртовы зубы, чем у неё занять. И отказать не откажет, но посмотрит так, что земля уйдёт из-под ног.

...Хозяйка и слушать не стала.

– Все вовремя сдают кассу, одна Анохина... Тринадцатого должна была ехать в Шанхай, на твою сознательность понадеялась, как раз мне не хватало этих денег... Пришлось билеты сдавать! Ну да тебе, видно, не объяснишь, придётся ставить на счётчик...

Ах, вот от каких слов оползают по стене! Вот после какого разговора телефонная трубка, плакая, пружинит на проводе между полкой и полом, как башка хохочущей змеи! Вот когда нужно давать дёру, как от волчьей стаи! Зря Никита думал, что нет ничего страшнее грохочущих в дверь кулаков...

Нет, есть и ужаснее чудовище! От него не забаррикадируешься, даже если сесть спиной к двери, а ногами упереться в диван. Всегда, всюду следит за тобой, семиглавое! Попробуй порази эти четырнадцать глаз одной парой ножниц! Оно живёт где-то там, за тридевять земель, за тридцать три царства-государства, за пятью постами гаишников, за тринадцатью мостами, за двумя переездами через железную дорогу – в каменной пещере, именуемой ГОРОД. Оно уже приглядело его маму, уже извилось в его зловонной пасти ядовитое жало и вот-вот вопьётся в шею. В его красных от выпитой крови глазах крутятся нули. Бегут, не устанут. Разверзаясь могильными ямами под ногами российской нищеты. Над повинными головами чертя круги. Имя ему – СЧЁТЧИК. И мать поставили на него. Как на колени...

И Никита тоже опустился на колени (Антонина Сергеевна как раз выхаживала долги, а Владислав Северянович все эти дни малодушно ночевал в конторе). Только не перед тем СЧЁТЧИКОМ, которым грозила старуха, – перед счётчиком энергораспределения. Из него выкатилась малюсенькая гаечка и, поплясав, упала за обувную полку, а Никита бросился искать.

– Нашёл, мелкий? Давай сюда!

Так нагло разговаривали с ним дырявые носки в полосочку. Выше начинался толстый, с потной лысинкой, электрик Мухин, известный матерщинник.

Мухин, встав на табуретку, снял со счётчика крышку и чего-то там ковырял отвёрткой, зажимал пассатижами, лизолировал (или как он сказал?) провода. А шапка его, оттопырив мягкое ухо, свернулась клубочком на столе. Наверное, прислушивалась в чужом доме.

Какой на ней рос замечательный пышный мех! Чёрный, как уголь, и как будто пересыпанный серебристой печной золой. Дунешь – завихрится воронкой, коричнево-шоколадной понизу, а уткнёшься лицом – запахнет дымом и тайгой. Никита в жизни не видал такой шапки, а уж чтобы носить – так только вязаный петушок, который продирают все ветра!..

Он даже примерил шапку перед зеркалом, хотя Мухин и скривил на него нетрезвый правый глаз (левого у Мухина не было, потому что Мухин был охотник и безалаберный человек).

– Чё, мелкий, нравится мой скафандр?

– Потянет, – сообразил Никита, мало что огромная шапка, растоптанная сократеей мухинской башкой, оползла до самого носа. Спросил небрежно, в тон годному ему в старшие братья Мухину:

– Сколь дал за этот стремофóрный фúфел?

Скрыв во рту кончик языка, который высунул минутой ранее, вверчивая болтик, Мухин почесал одну ногу другой повыше щиколотки. Никита восхитился, ведь толстый Мухин продолжал стоять на табуретке!

– Давай махнёмся: баш на баш? – вместо ответа предложил Мухин.

Очумел он, что ли?!

– Ага, – засмеялся Мухин, возвращая крышку на место. Щёлкнул рубильником. Под потолком расцвела луговым жарком лампочка. – Сыканул, что возьму твой презик?! Нет, мелкий, носи его сам, а мой «фуфел» денег стоит. У тебя вшей столько нет!

– Да с чего?! – обиделся Никита.

– А матерьяльчик деликатный. Соболя баргузинский называется. Головка! – Мухин назидательно вытаращил палец. – То есть первый цвет.

Всё это Мухин говорил, пряча отвёртку и пассатижи в карман. Туда же – деньги, которые по-взрослому отсчитал Никита (вот ещё куда, Владислав Северянович, уплывало из кошелька!).

– Ну, сколько?

– Ха, сколько! – Мухин, как носок на ногу, напялил шапку, как если бы водрузил на охапку стружек: Мухин был кучеряв и давно нестрижен, волосы лохмами свисали на затылке и висках. – Мно-ого! Это если в районе толкнуть. А в Питер на аукцион вообще с мешком ехать надо!..

И ушёл в своей дорогой (мешок денег которая) соболей шапке, на прощание помахавшей Никите оттопыренным ухом...

Наврал он, конечно, этот Мухин. Про мешок денег. Не могли столько отстегнуть за какую-то шкурку! Ну соболя, ну дорогой, ну редкий... Нет, Мухин, уж кто-кто, а Никита не лопух, не на того гайку уронил! Он тебя насквозь видит! Правильно, с одной стороны, говорил о тебе Владислав Северянович: пьяница, безалабе...

Вот и мама, когда он рассказал ей об этом, улыбнулась одним только ртом.

– Говорил бы уж десять! – отдула с губы налипший волос, сидя на обувной полке в верхней одежде, словно заглянула домой только для того, чтобы перевести дух и устремиться дальше. – Я бы у него заняла мешка два...

– А сама нисколько не нашла, мам? – Никита сел рядом.

Был уже вечер. Над ними горела лампочка, распыляя жёлтый кружок. И они сидели в этом кружке, не зажигая света в других комнатах, одни-одинёшеньки во всём мире, в его крошечной темноте.

– Тётя Люда Гаева обещала занять. Завтра поедет в город, снимет со сберкнижки. Альбина Владимировна даст с пенсии. Лишь бы не задержали, как в том месяце...

– Мам, а нас с папкой тоже на СЧЁТЧИК поставят?
– Нет, меня одну.
– А это больно?
– Чего болтаешь! Уже одиннадцать, а всё как маленький. Ну как может быть больно?!
– Тогда, раз не больно, я тоже вместе с тобой встану! Можно?
– Можно... – склонилась над Никитой, и на лицо ему закапало.
«Мешок денег! Иди ты, Мухин, в баню! И половины не дадут! Третий мешка – красная цена!» – спорил Никита, засыпая.

Этот сорт совсем особый
из сибирских соболей...

* * *

Наутро (о, сколько было этих наутро – наавтра – к вечеру – в срок!) он уже составил план действий. Может быть, в ту-то предшествовавшую ночь соболю впервые и приснился ему чёрной кляксой на голубой ветке, а мысль о мамином будущем счастье зарделась полоской рассветной сини на сплошном чёрном фоне.

Первое – найти Мухина. Вытрясти из него душу (если удастся оторвать от земли!), но разузнать, где, в каких далёких, близких ли тайгах (в близких-то, поди, нету) живёт такой дорогой соболю.

Второе – раздобыть у Мухина капкан. Тот, что стоял в кутухе, рядом с крысиной норой, накрытый корытом (чтобы глупая курица не клюнула), был ржавый, да к тому же со слабой пружиной. Из него даже иная крыса вырывалась. Таким, ясное море, соболя не удержишь.

Третья загвоздка – насторожить капкан в лесу...

С лесом понятно. Вон он, за рекой! Да и не за рекой лес. И справа. И слева. Хоть в какой стороне – лес. Тайга. Был бы капкан...

Значит, всё дело в Мухине!

А Мухин где?

Там, где все русские мужики.

А русские мужики где?

Правильно, в гараже – пьют водку!

...Положим, найти Мухина оказалось нетрудно. Нашёл – даже не в гараже, а в ограде, где Мухин колот дрова. Он, конечно, вытаращил свой единственный глаз, не понимая, чего от него хотят. Насилу Никита растолковал суть да дело.

– А чё ж отец вам не поможет?! – не очень-то вежливо буркнул Мухин. Он затаил на Владислава Северяновича после того случая с «глухарём», который убил Мухина-старшего, и его неприязнь была понятна. – Есть же у них касса...

– Да мы у него и не спрашивали, – соврал Никита.

Мухин, по всему было видно, не поверил, но ничего не сказал. Сдвинул шапку (но не ту, которая мешок денег стоит, а занюханную, из кролика, за какую Никита и горсть залежалых кедровых орехов не дал бы), снял с забора комок снега и приложил ко лбу.

– Башка трещит! – поморщился, нырнул в низкий сарай, а выплыл с капканом на цепочке. – Только это... скоро середина февраля. Шалый он теперь, соболю, широко бегают. В воскресенье ходил по мётлу – видел в перелеске следы...

– А на что его можно поймать? Я кусочек колбасы привяжу!

– Хорошо живёте, колбасу жрёте... Но колбасу – это кошаку ништяк, а соболю мясо надо. Дичь! Хотя крыса тоже проканает... А ты вправду, что ли, соболя думаешь поймать? Это ж не так-то просто, мелкий!

У Никиты, как от ветра, запылало лицо.

– Надо, – сказал тихо.

– Щас он ольховые прутья грызёт, мёрзлую голубику из-под снега объедает. Может и не клонуть на мясо...

– А чё делать? Ты ж объясни! – Сидя на чурке, Никите легко было разговаривать с простодушным Мухиным, от которого, как от бабы, разило каким-то вкусным дезодорантом. А вдоль скулы краснел свежий порез: брился, приводил себя в порядок похмельной рукой.

– Вот чего, – проникся Мухин, – ты только не трепись никому! Над капканом чё-нибудь да подвяжи, падаля какую-нибудь, а снизу, под жердью...

– Змею расплавленную?!

– Сам ты змея расплавленная! Пучок ваты помакай в голубичное варенье и приспособь на веточке – вот чего!.. Есть у вас голубичное?

– Не-а. Только черничное!

– Черничное дак черничное! Вот так и сделай, мой тебе совет. Ну, ни пуха ни пера?! – засмеялся, взмахнул колуном. – А охотник говорит рыбаку: ху-у тебе, а не щуку в уху-у! Убегай, мелкий, а то прилетит по боту́хе!

...Вечером Никита вываривал капкан. Это чтобы соболю не почуял железо. Никита как сделал? Он взял цинковое ведро, опустил в него капкан, набросал сверху еловых коринков, залил водой, а ведро поставил в бане на печку (была суббота, топили баню). Накрыв фанеркой. Стал парить. Час, другой... Сопрел у жаркой печки, думая, что в этой парке – главный смысл.

Ну выварил, ну выскреб из дымного ведра щепкой (это чтобы не коснуться голой рукой и не оставить свой запах). Капкан был сизый.

Закручинился: где взять приманку?

Как раз в кутухе задавилась крыса, столько времени объедавшая кур. Вот и приманка есть!

Топорик наточил брусом. Рюкзачок туристический, ветхий, починил. Положил в него завернутый в газету капкан и крысу, унёс под навес, подальше от жилого духа...

Всё исполнил, как Мухин велел. Теперь завтра дожидаться – мороз бы не вдарил, метель не взвыла бы!

* * *

Нет, мороз не вдарил. Зато грянула метель, летучим рукавом завесила небо. Но потом, потом...

Воскресным утром, ни при облачке, ни при солнышке – в поздних сумерках, не сказав ни слова, Никита ушёл в тайгу. Накануне случилась оттепель, но вот снова подстыло. Тайга стояла в пышном инее, похожем на тот, что мама с помощью ножниц вырезала из салфеток перед Новым годом, снизывала на нитку, которую Никита, встав на стремянку, натягивал под потолком. Далеко за чёрный ельник ушагал санной дорогой с очёсами сена на кустах. По ней старик Сослюк вывозил на лошади свои копны с покосных лугов. Дорога была накатанной, гладкой, мерцала длинными полосами, словно кто-то натёр куском свинца. Идти было легко и весело. Рядом с дорогой рос березняк, с которого клесты и рябчики натрусили овсяных серёжек. Пожалуй, нигде на Руси, а может, и во всём мире не было такой дороги! Вот только у них стлалась вдоль речки Казарихи, серебряной горлинкой журчавшей на талых перекатах.

Петляла дорога, пересекала речку, вырубку, болотный кочкарник с осокой, торчавшей из сугробов, ныряла под провода высоковольтной линии, а по обочинам знаками вопросов

стояли согнутые снегом берёзы. Стали встречаться поляны с черёмушником, к которым вели своротки. На полянах – будто выдавленные в снегу огромным напёрстком – бугрились под снежными шапками стожки сена. Возле одного такого стожка топтался Сослюк, откидывая фанерным пехлом снег. Под снегом проступало палевым цветом плотно слежавшееся сено, а сам стог напоминал облупленный яичный желток.

Лошадь, запряжённая в сани, выедала из-под ног, дышала белым. Над костром из ольховых сучьев, так сладко дымивших, чернел чайник, подвешенный на таганок. Никита кивнул старику. Сослюк воткнул пехло в снег, приспособил шубенку ко лбу, защищая глаза от солнечного света.

– Чей будешь? – И, не дожидаясь ответа, закричал, затрещал всеми жилками пересохшего тела, садясь на сани и ладясь закурить.

Лошадь попятилась, испуганная чужаком. Стронула сани. Сослюк едва не упал.

– Тпр-р-р-р, контуженая! – осадил за повод. Выгреб из костра голой рукой и поднёс ко рту. Подул. Причмокнул самокруткой. – Так чей, говоришь?

– А Владислава Северяновича. Ну, в лесхозе-то начальник, – ответил Никита, косясь на лошадь, которая громко фыркала и, подняв морду, зубатилась.

– Анохинский, значит, – не в укор, не в похвалу сказал старик. Он закашлялся, сплюнул, посмотрел и вмял носком валенка. – Далёко разбежался?

Никита, боясь сглаза, не хотел говорить, куда и зачем идёт. Но и обижать старика не годилось.

– Да гольянов ищу по вадигам! В марте пойдёт налим, будем уды ставить. Батя послал...

Сослюк не удивился, что небольшого мальчика направили за этим в тайгу. Наоборот, оживился. Вспомнил, наверное, своё далёкое детство.

– Это тебе к Ношеной горе надо! Вблизи-то выловили, все ямы пешнями издолбили. Я смолоду в тех местах пастушил, жил с весны по осень года три-четыре, однако. Вот только не знаю, стойт, нет ли там моё зимовьё по ключику... Поди, сгнило уже, это я всё живу!

Старик засмеялся. И непонятно было: рад он или не рад тому, что всё ещё смолит махру?

– Много его там, гольяна-то? – спросил Никита, лишь бы поскорее отвязаться.

– Ой, что ты! Тьма-тьмущая! Корчажку поставишь – через час ходуном ходит... Я ведь тоже думал съездить, наловить штук двести-триста! – похвастался Сослюк, но сам же и устыдился своего вранья, заморгал прозрачными от набегающих старческих слёз глазами.

Он ещё раз обозрел Никиту, соображая, где у него пешня и лопата. Не обнаружив ни того, ни другого, выдохнул косматый шар.

– Перекури, дорога дальняя... Будешь хлеб с салом? Чай у меня напел на костре, самое то.

– Не-ет, спасибо! – Никита перебрал ногами, сигнализируя, что ему пора идти.

– Я-то тоже мало ем! – по-своему понял его Сослюк. – Стар стал, в основном за счёт чая существую. У меня кишки дырявые, немцем простреленные. Где слюной, где... по-всякому выходит влага наружу. Вот и поддерживаю баланс, чтоб не пересохнуть...

Солнце натекло над лесом жёлтой лужицей. Заискрилась в воздухе мёрзлая пыль. Это ветерок раструсил снег с деревьев и взвинтил золу в костре.

– Хлеб-то с салом старуха моя положила! – чего-то разозлился старик, и Никита попрощался: Сослюк, наверное, осерчал, потому что его отвлекли от работы. – Она, шельма, суёт свой нос, куда кобель и хрен не засунет...

Так ворчал Сослюк. Но Никита уже бежал дальше. У него тоже было дело, может, поважнее сослюковского. Жаль только, что, по всему, скоро умрёт Сослюк (а ведь как в воду глядел Никита: весной не стало старика). Старуха, которая так бережно собирала мужа в лес, заворачивая в рушник хлеб и сало, продаст лошадь и справит сороковины, зять-пьяница распилит сани, чтоб не загромождали двор, – и не будет санной дороги в лесу!

Но пока дорога была-жила, проторенная хорошим дедушкой Сослюком, который напоследок словно бы улыбнулся Никите, оставляя ему на добрую службу и эту дорогу, и этот лес, и солнечный свет, и сердечное тепло старого уходящего человека...

К этому времени солнце поднялось на самую вышку, в лесу сделалось совсем светло. На полянах и между далеко отстоящих друг от друга стволов сосен свет лежал лимонными полукружьями, только под густыми ёлками набухли синие тени. Перестукивались лесные радисты – дятлы. Цвиркала синица. Клесты, молотя крыльями, на весу шелушили еловые шишки, раскачивая тяжёлые пружинистые лапы. Где-то, взвинтаясь по стволу, зацокала белка, стряхнула иней с веток сыпучей порошей, серебристо просверкавшей на солнце. Сидевшие на кустах ольхи рябчики сорвались с хлопучесным взрывом. Самочка, спасая свою жизнь ради будущих рябчат, спикировала под покать, к речке, а самец взгромоздился на ближайшую пихту – и ну свистеть, отвлекая Никиту, ну мелькать в ветках то пижонским чёрным воротником, то меховыми кальсонами! Никита отломил сук, прицелился и выпалил: «Бах!» Рябчик юркнул за ствол и засвистел ещё громче, любопытно выглядывая и косясь...

Но Никита уже снова семенил по дороге, чтобы добыть милой маме счастье. Она его так долго ждала!

Если хочешь – спрячешь в горстку...

Не просто за маминым счастьем поспешал Никита – он шёл за оберегом от беды. Она давно, ох как давно существовала в его мыслях в противовес чёрному соболю, как кошка мышку, ловила соболя, чтоб задавить!

А встряхнёшь через ладонь...

Вернее, это соболю возник в мечтах Никиты наперекор беде. Он её, проклятую, ловил, чтобы пырнуть острыми клыками, вывалить ей потроха и сожрать до единой кишки, до малейшего кусочка дымной печёнки, дабы не осталось ни кровинки, ни шерстинки, ни сгусточка желчи.

Всё от мочки до подшёрстка...

Никита, как та мудрая рябчиха, тоже поспешал теперь ради дорогого для него существа, и хотя дорога его была неблизка, зато светило солнце в вышине, и у Никиты, как у старика Сослюка, слёзы выступили на глазах от этого света, а пуще от ожидания будущей хорошей жизни.

Заиграет, как огонь...

Надо, надо было поймать соболя! Иначе зачем старик не ел мёрзлого сала, каряя лошадь дышала розовым, а рябчики свистели?!

...Вот и скала. Деревья с её отвесной кручи то и дело падали, и многие уже лежали по склону мёртвым древоломом, а другие ещё только оползали, как споткнувшиеся, цепляясь за камни и другие деревья. Дорога разветвилась на две. Одна полезла в гору, сужаясь до пешей тропинки, а вторая устремилась вниз, к речке. Тут-то, на этой развилочке, Никита и встал как вкопанный: круглые, аккуратные, лапка к лапке, равномерно чередующиеся двоеточия... Соболю! Вот где набродил, вот где крутился возле колоды, чего-то искал. А-а, мышей! Вот крохотная лунка: прижал лапой бурую полёвку и прокусил, а съел, так даже снег выгрыз в этом месте... Сразу видать – голодный!

Здесь, спешившись, и насторожил Никита капкан. Как сумел, как Мухин наказывал.

Срубил высохшую, в ногу толщиной сосенку (загубить живую было жаль), очистил от сучков. Поднял за комель, на ольховой рогатине прислонил к пузатой, зелёный подол расширившей ёлке таким образом, что со стороны это отчасти походило на упавшее прясло, один конец которого лежал на земле, а второй наклонно вздымался над ней на высоте не меньше метра. К этому концу Никита прикрутил с помощью проволоки капкан, зарядил палочками, чтоб не защемить пальцы. Сверху, чуть сбоку от капкана, подвесил крысу. Поозирался: всё ли ладно? Не всё! Про главный-то мухинский козырь забыл! Намотал вату на подвернувшийся прут, потыкал в склянку с черничным вареньем, всё равно что в чернильницу. С ваты – кап, кап! – на снег...

Всё!

Никита утёрся рукавом. Стоит капкан, как в журнале «Охота и охотничье хозяйство» описано. Крыса качается на верёвке. Лес ближе к речке сквозной, редкий – осины да берёзы. Таковую пышную ёлку соболь не обойдёт, да и крысу издалека заметно. Учует соболёк добычу, захочет поживиться – взбежит по жерди, потопчется возле неизвестного предмета, норовя как-нибудь обойти, а потом забудется, потянется за приманкой, да и наступит на пяточек. Тут его капкан и хват!

...Домой ещё быстрее сквозанул Никита. Даже не заметил, был, нет ли Сослюк на лугу или уж уехал на своей лошадёнке.

На пушных аукционах
нам завидует весь мир:
соболь ходит в миллионах
фунтов, долларов и лир!

Это надежда несла его на крыльях, и не было от этой надежды и малой тени, один только свет. Спасибо Сослюку за дорогу, а пьянице Мухину – за капкан и охотничий совет! За счастье мамы, которое уже почти в руках у Никиты.

* * *

Беда сидела за столом и швыркала из кружки, деликатно отогнув мизинец. Чайная ложечка с обкусом рафинада была нацелена на дверь. Сейчас беда поднимется, упрёт руки в боки и рывкнет:

– Поймал соболя, фуфлогон несчастный? Будешь мамку выручать? Не-ет?! Ну тогда вот тебе! – И ка-ак даст из катапульты! Тут Никита и рухнет с шишкой на лбу, а Владислав Северянович (по случаю воскресенья бывший дома) в одних тапочках драпанёт в лес. И мама останется совсем одна...

О, беда вошла в их дом старухой-грибницей, потом въехала коробками с жвачками, с тарелками, со шмотками, затем – застрекотала СЧЁТЧИКОМ и запикала телефонной трубкой, которую мама выпустила из рук... Да если бы Владислав Северянович сломал тогда дверь в детскую и прибил их с мамой, в этом было бы не больше горя, чем принесла беда – войдя в открытые двери, с разрешения Антонины Сергеевны, и всё в их жизни перевернув кверху дном!

И вот теперь беда как ни в чём не бывало сидела за столом, пила чай и поддевала из вазочки баранки, размачивая их в кипятке, как сам Никита пробовал это делать в стакане с морковным соком. Волосы её, и без того жидкие, сопрели и напоминали плесень. Завидев Никиту на пороге, она и ухом не повела, хотя Никита буркнул: «Здрасьте!» Воздев узкие модные очки на нос, на самый кончик (ссадила глаза, подсчитывая барыши!), смотрела поверх –

на Владислава Северяновича, который оседлал табуретку, продолжая рассказ, начатый ещё до появления Никиты:

– Вот так и повелось на Руси-матушке! Живём, как говорится, в лесу, молимся колесу, едим колбасу... Это я так шучу, Людмила Ивановна!

Не зная, куда себя деть, Антонина Сергеевна маялась, как приговорённая, то складывая руки на груди, то опуская по швам.

– Отстали мы в некоторых вопросах, в этом я с вами, Людмила Ивановна, солидарен. Не только от города – от всего мира отстали!

– Ты бы дал человеку чай попить! – с того вечера, как они с Никитой отсиживались в его комнате, это были, наверное, первые слова, которые Антонина Сергеевна сказала мужу.

– Да нет, почему же? Пусть говорит. Он мне не мешает, – не согласилась беда.

Вежливость, с какой разговаривал Владислав Северянович с бабкой-коммерсанткой (а грозился пинком спровадить!), и великодушное поведение самой старухи объяснились шумом на крыльце. Кто-то обивал башмаки от снега, а потом искал в потёмках дверную ручку. Зевнула дверь – выдохнула двух румяных амбалов в коротких кожанках и в берцах с высокой шнуровкой.

– Так-так! – Старуха слегка засучила рукав, поглядела на маленькие ручные часы. – Что-то долго! Сказала же, съездите в эту точку – и обратно...

– Не было её, зря только ждали. Завтра найдём-наедем! А здесь что? Выносить надо?

«Найдём-наедем» осмотрелись.

– Не пугать тебя приехала, Тоня, – глазам Антонины Сергеевны, округлившимся в баранки-нули, ответила беда. – Но ты тоже должна иметь в виду, не в игрушки играем...

Владислав Северянович поспешно поддакнул:

– Мы понимаем! Будем думать...

– Само собой, будете, – фыркнула старуха. – Я пока два процента включала...

– То есть?!

– День просрочки – два процента. Что тут непонятного?

Антонина Сергеевна вскрикнула. Никита, глаза на исчезающие из вазы баранки, которые уносила жёлтая рука с крупными красными ногтями, присвистнул. Владислав Северянович, по обыкновению, побарабанил пальцами по столу. Табуретка – скрипнула...

– Да-да, два! А как вы хотели? Это ничего, это ещё по-божески. Включают и десять сразу, – утешила старуха. – Но я пока, Анохина, с этой мерой повременю. Даю неделю... да ты сядь уже! Что стоишь, как в гостях?

– Не ожидала...

– Кто же ждёт?! Никто не ждёт, отсюда все наши беды... Вы пока в машине посидите.

«Найдём-наедем» кивнули и ушли.

– Ой, беды! – с их уходом встрепенулась Антонина Сергеевна. – Не знаю даже, куда от этой беды деться! Как получилось, ума не приложу! Ведь они у меня по рядам лежали – тут сотенные, там тысячные, каждая в своей пачке. Даже тетрадка есть, куда я всё записывала... Принести?

– Не надо, зачем? – беда пожала плечами. – Ох-ох-ох! Укатали Сивку высокие горы... Как получилось, спрашиваешь?

– Спрашиваю, Людмила Ивановна.

– А от неприспособленности нашей. Не умеем ещё, как на Западе. Там ведь как? Хочешь жить – умей вертеться...

– Бизнес, – подытожил Владислав Северянович.

– ...никто не запрещает, не мешает. Наоборот, помогают. Государственная политика такая: благодать страны состоит в благодати её граждан. Люди и крутятся: им хорошо, государству хорошо. Вот как отлажено!

– У нас соседка тут жила одна, Кожубекова... – подхватила Антонина Сергеевна. – Так вот эта Кожубекова начинала с жевачек, а сейчас такими делами ворочает... Пожалуйста, смог человек!

– Это редкость. В основном беспутный народ. Знаете, как в том анекдоте: круглое носим, квадратное катаем. Не в обиду вам будет сказано...

– Да нет, мы ничего, – согласился Владислав Северянович. – Я тоже говорил ей: не сори деньгами, приедет баб... приедет твоя хозяйка, спросит с тебя. Я-то отвечать не буду, плевал я отвечать!

Беда внимательно посмотрела на Владислава Северяновича. Проворно встала, положив облизанную ложечку на стол.

– Ну и ладушки! А мне пора! Телефон-то у вас сломан?

– Отключили за неуплату.

Антонина Сергеевна и Владислав Северянович тоже поднялись. А Никита и так всё это время стоял, навалившись спиной на дверной косяк, сняв только шапку, – краснощёкий, намёрзшийся после леса.

– Надо уплатить. Я тебе звонить буду. Мне за сорок девять кэмэ кататься... тоже, знаешь... Дорога – убитая, а машина – новая, с низкой посадкой. Японская! Она к нашим условиям не приспособлена...

– Заплатим, не переживайте! Мы всегда так-то платим, это нынешний месяц не получилось...

– Я не переживаю! – поправила беда, прошла, сняла с вешалки пальто с норковым воротником (ну да куда ему до мухинской шапки!), подумала и встряхнула. – А, здравствуй, малыш! – как будто только сейчас обнаружила Никиту. – Ну, как дела? По грибы-то не бегаешь летом? – Обернулась к Антонине Сергеевне: – Сейчас, Тоня, в ходу трюфеля. Ты не пробовала?

– Да где!

– Вещь! Не под самогонку, само собой, а под хорошее французское вино.

– А у нас в парнике такие растут! – брякнул Никита.

– Не слушайте вы его! Вроде большой уже, книжки читает, подгонять не надо, а иной раз скажет что-нибудь...

– Тоже без толку растёт, – посочувствовала беда. Покашляла. – Пойдём-ка, Тоня, проводишь меня до калитки.

...Вернулась Антонина Сергеевна как побитая. И пока чистила картошку, пока жарила на сковороде, пока мыла посуду – по щекам её точилось. Никита, ковыряя вилкой в тарелке, и раз, и другой поднял на маму глаза – она всё так же плакала, ходуном, как будто в одном платье выставили на ветер, ходили её плечи.

– Мам, ты чего?

– Ничего, Никит, ничего! – швырк-швырк носом.

– Вижу, чего, а говоришь, ничего! – не поверил, боясь жутких жёлтых фар в ночи, а больше того переживая за маму, которой лихие люди могли сделать плохо. – Ты со мной сегодня ложись, ладно?

– Ладно.

* * *

И завывала за окнами метель, гремя листом жести, заворотившимся на крыше. Встав на задние лапы, сама себя кусала за выгнутую грудь, откашливая шерсть, которую подхватывало и несло по белу свету. Бежала, выдыхая клубы. Рыла снег, а то, задрав лапу, крапала на месяц, что горел в небе синий-синий, словно пропитанный бензином клочок ваты. И снова трусила, чертя носом. В чистом поле нюхала следы. Вот-вот найдёт их дом, взовьётся серебристыми сне-

жинками и юркнет в замочную скважину. Ночью оживёт, на цыпочках прокрадётся в детскую, поцелует Никиту ледяными губами, а маму цапнет за бочок и утащит за тридевять земель, в дремучие леса, закуёт в каменной пещере...

Вот уже скребёт когтями в стекло и в стену, притворяясь ветками рябины, вот уже лаает на чердаке и с визгом пролетает во тьме белым шаром. Встать бы из-под маминой руки, от всех бед и напастей перекинутой над ним, как летняя радуга, залепить бы замочную скважину пластилином! Метель бы и унялась, некуда было бы ей сочиться, не стала бы морозить маминых босых ног, которым коротко детское одеяло Никиты. Он давно проснулся и лежит в оцепенении, смотрит, как на полу хороводят тени качающихся в палисаднике деревьев, и слушает таинственный шум в кухне (где мышка забралась в консервную банку с яичной скорлупой)...

В такую ночь соболев, наверное, хоронится где-нибудь под выворотнем, лучит голодные глаза и ждёт, когда закончится непогода. А метель сторожит его у норы, ни одним глазом не заспит, ни на одно ухо не оглохнет, чуть чего – хрипит и швыряет снежные комья. И зверьку ничего не остаётся, кроме как свернуться клубком и ждать, – как Никита прижался к спящей маме и чего-то ждёт, повторяя про себя:

Густомглистый с искрами соболев,
Легконогий, не бросит петли
Мягких лапок по рыхлому снегу...

О, как томительно это ожидание охотничьего фарта! Со дня похода в лес даже в ночном небе жадно видит Никита не звёзды, а соболиные следы, и в месяце – запорошенную дугу взведённого капкана, который день и ночь караулит жертву. И жаль Никите несчастного зверька, того гляди вляпается и поплатится жизнью за свою дорогую шубку! Ради неё люди готовы, кажется, простерстить всю сибирскую тайгу, поймать и убить последнего баргузина...

Но и маму жаль! Маму-то, конечно, в первую очередь. Да и вряд ли (это так утешал себя Никита) соболев выйдет на промысел в такую стужу, а «найдем-наедем» найдут и наедут. Им нынче на Руси все пути-дороги открыты!

...Старуха-грибница пошептала с Антониной Сергеевной у калитки – да и упорхнула в своей японской машине, обронив:

– Ищите деньги и с Богом оставайтесь!

Деньги они найдут, им деваться некуда. А вот с Богом, наверное, никогда не останутся. Это Никита понял в тот же вечер.

Перед сном Владислав Северянович вытребовал маму в спальню (он стоял босой, жилистый и острый, в бледно-голубых пошарканных кальсонах, и руки его, вздувшиеся уродливыми витыми венами, то механистически сжимались в кулаки, то снова разжимались).

– Чё она тебе внушала там, у калитки-то? Звала для чего?!

– Ой...

– Только это... не скули!

– Ой, Владик! К чему она, змея, принуждает! Вот уж правда змея подколотная!

– Ну чё?!

– Не знаю, как и сказать...

– Говори как есть! «Как», главное...

– Дом прода-ать подговаривает!

– До-ом?!

Обратно в детскую, где всё это время ждал её Никита, Антонина Сергеевна не вошла – ворвалась. Из ноздрей у неё капало, как будто торопясь поскорей в платок из ненадёжного носа. Его ничего не стоило расхлестнуть, а в платочке, застиранном до прозрачности, было,

конечно, спокойней. Уж из платка-то Владислав Северянович мамину кровь не выпьет, это он только из неё может цедить, кровосос несчастный!

– Кровосос несчастный! Добыл из меня кровушки, ребёнка не пожале-ел! Добивай тогда и его, чтоб не мучился мой мальчик, моя голубка, не смотрел на эту жизнь, пропади она пропадом!.. – бежали из мамы слова, пузырятся и лопаются на губах розовой от крови пенкой.

Всё нынче спешило из Антонины Сергеевны: кровь, слёзы, слова. Там, вне маленькой мамы, им было надёжней, потому что здесь, в большом равнодушном мире, есть где спрятаться. А маме Никиты негде скрыться от быстрых рук, не у кого найти защиты, и только Никита свидетель горьким словам её молитв.

– Мама, тихо! Ничего не говори, а то он опять тебя побьёт! – прислонясь к маминому плечу, дрожащему, как дерево на ветру, Никита плакал в ладошку, думая набрать полную и утром вместе с красным от маминой боли платком подарить Владиславу Северяновичу, чтобы тот всегда помнил, сколько он выдоил из Никиты слёз, а из мамы – крови. Но слёзы утекали сквозь пальцы, и не то что завтра, а уже спустя минуту-другую нечем было бы Никите доказать своей тоски и печали, своего нежного чувства к маме, которую лупят, как сидорову козу, а она ничего поделать не может. И уже не кричит, а сидит и мычит, как немая, и медленно угасает перед каким-то ещё неведомым Никите молчанием...

Отрыдав, с мягким опухшим лицом далеко за полночь забылась Антонина Сергеевна. Сон её был болезнен и чуток. И Никита впервые видел, как мама стареет даже во сне. На его панцирной кровати, под его коротким одеялом, под его надзором и запором железных ножниц, воткнутых за дверной наличник...

Но от жизни чем запрёшься? Разве что снова в книжки долой – туда, в бумажный лес.

За окном ночь и день, ставший продолжением ночи, лютовала метель, всплёскивала белыми удавками, возводила на верхи снежных гребней и вешала за горла жёлтые прутья бурьяна, истошно колотилась в стёкла, царапалась, лизалась, сипела в трубе, клубилась прахом и заметала души и следы. И утра их новой жизни (та, старая, какой бы горькой ни была, утекла вместе с мамиными слезами) были однообразными. Лапша и морковный сок – ещё более мерзкими, хоть Никита и сглатывал их послушно, чтобы лишний раз не расстраивать Антонину Сергеевну, и без того на глазах иссякавшую в погоне за деньгами. А Владислав Северянович – забытый и одинокий, с которым никто не разговаривал, – слепой рукой протыкал за спиной рукав пальто и низко гнулся, уходя в ветер и снег. Только молодой белозубый соболек не был молчалив, и шипел, и урчал, когда Никита в мучительной тусклости дней, в усталости бесплодных походов в поздний зимний лес задрёмывал в кресле и, оползая на пол и во сне цепляясь за ручки кресла, как за ветки ольхи, с горки в низину катился на мухинских лыжах к заветной ёлке, где лязгала цепь капкана и на конце жерди бился чёрный искристый ком...

Соболя ловить иду,
Дорогого соболя.

5 февраля 2010 г.

Теплоход «Благовещенск»

1

Жара. Голубая полуденная одымя. Мне кажется: нет вокруг ни леса, ни реки, ни неба, ни воздуха – одна сплошная пылающая лава. Земля выжжена и обезвожена так, что, наверное, кузнечик, спрыгнув с травинки, вздымает незримое облачко пыли. Лена усохла, облезла, высветилась на перекатах до дна. Тут и там оголились опечки, напёрли рёбра брустеров, и лавни – деревенские передвижные мостки из широких толстых плах с двумя колёсами на конце – день ото дня выдвигаются всё дальше в реку. На дворе первая неделя августа, а лиственницы по косогору уже наливаются осенним воском, вянут листья на берёзах, тополях и осинах, ртутными столбиками горят стебли краснотала в поймах задыхающихся ключей и родников. В огородах отцвела и поникла картошка; пожухла, едва завязавшись, капуста; закручинились морковь и свёкла в твёрдой корке земли, которую бабы перед поливом протыкают острой лучинкой, чтоб овощ вконец не загнил.

Всё жаждет дождя!

Давно все грабли обращены зубьями к небу, а вилы опущены в воду: так, по примете, в старину ворожили ненастье. Но из района летят и летят безрадостные сводки. Пылают лесные пожары, деревню заволакивает удушливо-сладким дымом, и уже с раннего утра лютуют на улице чёрные тучи гнуса. Туда-сюда курсирует оранжевый вертолёт, кружит над тайгой или осыпает Подымахино бумажными агитками «Берегите лес!». Листовки тут же уходят по назначению: ребятня делает из них самолётики, старухи собирают для всякой хозяйственной надобности, а смуглые подымахинские старики, рассевшись в тени изб, мастерят злые самокрутки.

Когда земному терпению наступает конец и директор совхоза, пыля на своём «бобике», сообщает об очередных неутешительных прогнозах, старухи по стовору выволакиваются за ограды. Торжественно, точно это сверху послана им особая миссия, семят к реке, подняв над собой иконы Николая Чудотворца и Марии, Матери Божьей.

– Я как полы помою, у меня иной раз под порожком отсыревает, – для проформы беседуют о пустяках, возбуждённые грядущим таинством. – Вода закатится и другой раз высохнет, а когда – не сразу. Я на доску-то наступлю, и если брызнет из-под порога – к дождю. Вот сколько раз так было! – Божится. – А нынче два раза брызгало – и ничего.

– А у меня если костка заболит на руке, вот в етим месте, – старуха показывает на изгиб кисти, – то дождь пойдёт. – И кивает, убеждая, седой головой.

Слушив с себя яркие ситцевые платки и простенькие повседневные платья в пятнах от свежескошенной травы, старухи, чертыхаясь на камнях, забредают с иконами в Лену.

– Баба сеяла горох и сказала деду: «Ох!» – протараторив детскую считалочку, окунаются по горло. Они смеются, охают, кряхтят, толкают друг дружку на глубину. Тут как тут и ребяташки: стоят поодаль, удивлённо сопят в обе наветренные шморгалки, не решатся подойти к старухам, которые ещё полчаса назад караулили их в малиннике, а сейчас барахтаются в реке, выставив на обозрение всему свету жёлтые животы и квёлые, словно брусника в ноябре, груди.

С угора наблюдают любопытные старики, комментируют для потехи, отвлекают от священнодействия.

– Веселей, Анна, загребай! – подзуживает Иванов, далеко раньше времени вступивший в ряды деревенских старожилов. – Во! Отгребись на фарватер и заводись. Да шпонку не сорви... Ну куда тебя кренит-то?!

– А ты пошто оробел нынче? – в тон ему отвечает белозубая бабка Аня, местная ворожея, самускатель на заплыв с иконами. – Пошёл бы да поддержал!

Картинно всплеснув руками, Анне хрипло возражает высокая бабка Маруся, отчаянная матерщинница и единственная среди старух курильщица:

– Ты кого выдумывашь, девка?! – Бабка Маруся, тая лукавую улыбку, смотрит на Иванова, на Анну. – Он имана своего в руках не удёржит, не только что...

– Шмеля тебе под подол, долговязая, за твой поганый язык! – обижается Иванов, ищет в карманах курево, огрызаясь на подковырки других стариков.

– Нырай, Маруся, топориком, да Миколу не потопи: Бог враз пензии лишит! – чадит самокруткой старик Шишкин, хорошо пьяненький по случаю субботы.

– Сам не сплошай, а то сидишь, в штаны напрудил!

На то Шишкин степенно замечает:

– Тебе-то что? Легла на грудя – и плыви хоть в Якутска...

С другого фронта – от избы Кольки Глызина по прозвищу Шлёп-Нога – мужики смехом давятся. У них своя вера: загребли ряжем ведро ельцов и окуней, сменяли у бабки Анфисы на водку. На глазах всей деревни соорудили «круглый стол», перевернув огромную деревянную бобину от электрокабеля. Гулеванят на лужайке, на самом пекле, – кусок хлеба да шмат оплавленного сала, пустые бутылки в крапиву так и свистят. Глядя на старух, водит осовелыми глазами Лёнька Якушев, всклоченный от неудобного сна за столом. Гудит, сложив руки наподобие рупора:

– Итак, очередные зональные состязания по гребле с голыми титьками объявляются открытыми! У-ура-а, товарищи!

– Но-о, ишо один! – гневно плюётся бабка Аня. – Балаболка! Чё скажет – как в лужу бизнет!

– Прикрой, Лёнька, мотню: мошки хозяйство нажучат! – Стоя по грудь в воде, бабка Маруся плещет на лицо и довольно побрякивает.

Лёнька не спускает:

– Под первым номером – тётка Маруся, неоднократная победительница деревенских соревнований в беге за «катанкой»...

– Постыдился бы так говреть-то, Леонид! Не ровня тебе, как-никак! – стыдит бабка Варя, мелко потрясая контуженой головой; почерпнув, отхлёбывает из ладошки. – О-о, сразу как опеть родилася! Вот что значит – своя...

– Попей-ка её, родимую, ишо не то сболтнёшь! – возвращаясь к разговору о Лёньке, низким грудным голосом басит бабка Аня, с напором, как молодая, бродясь против течения.

– Осторожно, русалочки! – гогочет Лёнька. – Там у Глыбы сеть. Запутаетесь по самые жабры...

– На сколь она у тебя, Кенка? – со знанием дела уточняет Серёга Казарин, надвинув едва не до бровей фирменную тёмно-синюю бейсболку «Речфлот» с широченным козырьком, затемнившим половину лица. – Ельцовка?

– Сороко-овка.

– Бабка Варя проплывё-от! Её ряжем надо. Или корчагой!

– Смех-то смехом, а у меня ёрш в пятидесятку попал! Расшиперился во так вот в ячее...

– Расшиперишься тут! Моя, вон, в погреб полезла вчера... Я, главно, всё лестницу починить собирался!

– Бессовестные! Все мужики на покосе, а оне...

– А они «катюшу» понужают! Скуснатища-а – во! – скаля зачифирённые зубы, большой комкастый Кеша Глыба, хозяин бобины, глухо, почти беззвучно смеётся; поднеся к губам заветный стопарь, опрокидывает в себя и долго – отрешённый – сидит с закрытыми глазами.

– Имеем право! У меня, главно, зуб ноет – всю щеку растарабанило...

– Душа у тебя, у падлого, не ноет?! Картоха вся как есь зачичерела! Чё исти зимой будешь?!

Все на мгновение замолкают.

– Мы небо размачиваем! – нагло заявляет Серёга и, кивнув мужикам, вынимает из травы ещё одну, срысает зубами чеку-заглушку из мягкой золотистой жести. – Размочим – и дождь пойдёт...

– Пойдёт-пойдёт! – поддакивают друзья-товарищи, деликатно подставляя стопки.

– Имя хоть в глаза сси – всё божья роса! – отмахивается бабка Аня.

– Нет, бабульки, – не унимается Лёнька, промакивая рукавом залитый тёплым угарным потом лоб. – Навострите локаторы, я вам щас анекдот расскажу! Короче, приходит старуха к гинекологу...

– Эх, поглянулось – хорошо! Давай-ка, батенька, ишо! – как чёрт из бутылки, наперёд Лёньки выскакивает совсем уже пьяный Шлёп-Нога.

Лёнька с сожалением, как на блаженного, смотрит на Кольку, который по-гусиному вытянул шею и, ожидая реакции, скорчил обмётанное колкой щетиной лицо.

– Но-о, сморщился, как кобыля срака! – устав перепираться, отворачиваются старухи.

Накупавшись, омыв иконы да сотворив с запинками молитву, сотканную общими усилиями из детских воспоминаний, старухи устало тащатся домой, хлюпая мокрыми тряпичными тапочками. Старики провожают их сочувственными взглядами и, что-то доказывая друг другу, тычут в небо жилистыми кулаками. Мужики – помалкивают.

А дождя всё нет. Нет ни к вечеру, ни на утро следующего дня...

2

Банным теплом дышат в лицо мёртвые чабрец и волоснец. Пахнет смородиной и дымом. В воздухе сухая едкая пыль пошевеленного сена, и от неё спину и плечи жжёт так, словно уронили в крапиву. Я то разболакаюсь до трусов, то снова одеваюсь. В одежде жарко, а без неё и вовсе худо: оводы осаждают голое тело, розовыми волдырями вспухают укушенные места, в ранки сочится солёный пот, волдыри огнём горят и предательски чешутся. А тут ещё мошка даёт жизни. У меня все глаза красные – мошка то и дело забивается под воспалённые веки, и я тру глаза наслонявленным пальцем или концом выпущенной рубахи. Да только всё без толку. Едва вынешь пронырливую тварь из одного глаза, как в другом уже все три. До чего много мошки на Лене! Чуть ворохнёшь граблями вчерашнюю кошенину, как взвивается тучей и глазам делается темно. Хочется упасть ничком в траву и лежать, не шевелиться.

Но лежать нельзя – после обеда ставить сено. Его много сбрили в три литовки дед, отец и Мишка.

С утра, по росе, косили у ручья, где кончаются наши владения, дожали полянки, полные густой высокой травы, спутавшейся и полёгшей набок. Теперь косы отдыхают в кустах. Осталось высушить да скопнить скошенное, и можно считать, что на Дресвяном управились. Но уже завтра-послезавтра мы уйдём ниже по реке, на Перевес. Там пабереги не меньше, а в култуке ждёт не дожждётся осока, которую мы запасаем скоту на подстил. Это, пожалуй, самая трудная работа. От неё тупятся косы, точно они не отлиты из стали, а вырезаны из консервной жести, и руки, мечущие тяжёлую, всегда будто сырую осоку, вспухают жилами и через час-другой «отстёгиваются».

Дождь бы, что ли, пошёл!

Но в небе ни тучки. Небо прозрачно-голубое, полосками жёлтой фольги блестят в нём солнечные лучи. Вот высоко над лесом показывается ясный, словно вычерченный на ватмане, силуэт ястреба. Он парит, высматривая добычу, и некоторое время реет у нас над головами, но попадает в золотую клетку и, ослеплённый, цепенеет в воздухе, а уже через миг взмывает ещё выше и оттуда стремительно пикирует на крутую отвесную сопку, сидит выпуклой ржавой точкой на облезлой сушине. Не к ненастью ли?

Прошлым летом в разгар сенокоса рухнули затяжные ливневые дожди. Ошалевшая брюхатая Лена по-весеннему захлестнула паберегу, налилась всклень, затопив низины и подоткнув угоры. Разбушевавшимся потоком подмыло и поволокло стоявшие у реки копны и зароды, они застревали на отмелях, цеплялись за бакены, разматывались по прибрежному ольховнику, ветки которого торчали над глинисто-мутной водой. Плевались да костерили небесную канцелярию старики, когда мимо Подымахино проплывали копны добротного нынешнего сена, а жирные чёрные вороны, сидя на остроинах, как на шпильях затопленных куполов, каркали громко и жутко. Нежданная мокреть, как наказание небесное, многие семьи заставила взяться за нож, к зиме не одну красную кровяную шкуру откинули на заплот раньше земного срока. Наше сено стояло ближе к лесу. Языки воды едва приблизились, как в небе, наконец разъяснело, и бешеная пена потекла обратно в русло. Однако совсем без последствий не обошлось. Дождями, лившими больше недели, едва не до середины проклевало наши копны, как бы ладно они ни были завершены. Мы отложили косьбу и принялись разбирать, сушить и снова метать. Всех чертей обругали, когда, оступаясь на вырубленных в глине ступенях, перетаскивали сено на угор, опасаясь повторного наводнения. Много сена погнило, да и то, что спасли, перемжалось прелыми червоточными клочьями и воняло белой плесенью. Но хотя всё это ещё на памяти, не забылись и, наверное, не скоро забудутся, те надсадные дни, я никак не могу себя побороть, и нет-нет да вызрюсь в небо с надеждой на маломальскую весточку о будущей непогоде...

Рядом гребёт мой дед. Ему под семьдесят. Колючая, с сединой щетина покрыла чёрные от солнца и старости щёки. Голова не то чтобы плешивая, а жидковолосая: как овцу, остригла его старшая дочка. «Тут иман, там иман!» – охарактеризовала стрижку бабушка. Вот дед кладёт грабли и, выудив из кармана скомканную косынку, по-старушечьи обвязывает голову, затянув узелок на лбу. Гребёт он без спеха и с величайшим знанием дела: с горки в низинку, не к кустам, а от кустов, где нет завей и солнце жарче, и всё строго в линию, вдоль Лены. Такие валки чем удобны: зайдёшь с одного конца, пропорешь вилами и пыхтишь, буровя в кучу, пока, как говорит дед, «из заду не подастся». Временами старик с отчаяньем трёт глаза и материт правительство. Мне это смешно, хотя и не совсем понятно. Я поглядываю на старика в надежде, что мошка загрызёт его до смерти и он скомандует перекур (верховодит на сенокосе дед), но старик, как заведённый, шерудит и шерудит граблями.

– Дед, а дед?!

– Но-о?

– А почему ручей – Дресвяный?

– Деревня тут раньше стояла. – Дед запомнил, что и вчера, и позавчера я уже спрашивал его об этом. – Она-то и называлась Дресвяная...

– А деревня почему называлась Дресвяной? Может, как раз наоборот: деревню так называли, потому что ручей – Дресвяный?!

Вот уже несколько дней кряду я умышленно пытаю старика подобными расспросами, как будто это он виноват, что жарко и на лугу тьма-тьмушая жручей мошкар. Дед отмалчивается, делает вид, что не его душеньки касается, но мне от него ничего и не нужно! О том, что здесь была деревня, я знаю и сам, ведь всё об этом говорит, и пуще всяких слов – камни, ни с того ни с сего возникающие в траве, хотя мы каждую весну чистим луговину. Ну или вот ещё – чёрное обгорелое бревно, обглоданным позвонком какого-то древнего животного упокоившееся на дне Сенькиной ямы...

– А почему яма называется Сенькина?

– Потому что Сенька возле этой ямы косит, – не переставая работать, по-прежнему негромко, повествовательно говорит старик, и сказанное им мне также известно. Только для меня уже неважно, кто такой Сенька и где он косит траву! Сенькина яма для меня – это яма возле бревна, на котором я два лета назад проткнул вилами спящую гадюку. Но именно поэтому и завтра, и послезавтра, и через много-много лет, когда замолчат слова и изыдут с дресвяновской луговины последние камни, я буду помнить и всеми позабытого трудягу-косаря, и полусказочную деревушку, и своего покойного дедушку, которого я когда-то без малейшей жалости допекал расспросами. История окружающего мира начинается для меня с гадюки...

У кустов, поодаль, ворошит отец. Он раздет до пояса, спина – словно смазана свиным салом, ремень скоробился и засох, штаны – в белых соляных разводах. На спине у отца – семь оводов, которых у нас кличут плевками. Только он, по-моему, их не замечает, отвлекаясь от работы лишь затем, чтобы протереть залитые потом очки. У отца самые большие валки. Он ценит всё державное и могучее. Он видит в этом залог благополучия. Дед, в свою очередь, видит в этом халтуру и, брызжа слюной, внушает нерадивому, что толстые валки не просохнут. Закипает перепалка, но лишь на мгновение – жарко. У отца в руках грабли – хоть к трактору подцепляй! Эти грабли с тайной усмешкой изготовил для него дед. Другие, сотворённые под иссохшую стариковскую руку, отец через день-другой попросту крушил.

– Сдуру знаешь чё можно сломать? – выдавая грабли, глубокомысленно спросил дед.

Хрясь! Сухой треск! Отец зарочил грабли за смородиновый корень и сломал деревянный зуб. Дед громко матерится и одну за другой высмаркивает ноздри.

– Ми-иша-а-а! Наладь этой чуме, у меня уж сил нет глядеть на всё это!

Вот и выкроилась минутка для отдыха! Можно посидеть, посмотреть, как брат Мишка выстреливает из деревяшки новый зуб и вправляет вместо старого.

– Потянет! – Мишка раз-другой скребёт по земле, проверяя «вылеченные» грабли. – Ты это, папаня... это ж не борона!

С Мишкой у нас разница в десять лет. Он минувшей зимой вернулся из армии. Два лета Мишка не косил, соскучился и теперь работает в охотку. Недавно я с удивлением заметил, что мы с ним совсем непохожи: он русский и кудрявый, а я – почти черноголовый, и волосы у меня не в смолёвую витую стружку, как у него, деда или отца, а прямые. У Мишки кожа белая круглогодично, а я зимой смуглый, а уж летом – как негр. Он – в бабку по отцу, я – в бабку по матери. Но я во всём подражаю брату, поскольку всё у него лучше: и коса, и грабли, и самодельный нож в кожаных ножнах на правом боку. И косит, и гребёт он баше всех! И я тоже мечтаю научиться косить так, чтобы трава, как по заказу, падала в один аккуратный ряд, и сгребать, не оставляя ни травинки. А нож на боку у меня есть: чехол из кирзового голенища, а рукояткой исправно служит резиновая велосипедная «газулька».

Мишка – самостоятельный человек, что хочет, то и делает, и даже дед ему не указ. Захотел по-маленькому – пожалуйста, бросил грабли поперёк вала и, повернувшись спиной, льёт на кусток шиповника. И пыльные, квёлые от жары листья на глазах становятся ярко-зелёными, разве что кое-где уже видны жёлтые раковинки-проедины, словно прожгли лупой.

– После картошек пойдём на Талую...

Забыв о жаре и гнусе, с жадностью ловлю каждое братово слово. О, какое по счёту лето мы со дня на день собираемся в верховье речки Королихи, которая и зимой не замерзает, отчего и носит красивое имя – Талая! Одно время я был слишком мал, чтобы осилить двадцать с лишним километров таёжного бурелома, но вот я подрост (глядите, как я подрост!), а Мишку как раз и забрали в армию... Мне часто снится: ломовой черноспинный хариус с золотистым брюхом сыграл из-под коряги на «морковку» – оранжевую шерстяную мушку с рыжими усами из ондатрового волоса – и, засёкшись, бодается, ходит в глубине серебряным колесом.

– Ленок с хариусом в конце сентября скатываются в Лену, – дразнит, говорит дивное Мишка. – Покараулим на ямах с удочками...

– А ружьё возьмём?!

– Возьмём! Ты, главное, гребь...

Только огромным усилием воли стискиваю челюсти, чтоб не зареветь на весь луг в первобытном восторге, не встать на уши и не пойти на голову, рискуя вызвать на себя немилость деда.

3

Огненный циркулярный диск натужно вращается в небе, приводимый в движение ремнями лучей. Через минуту-другую, распилив небо, он перекусит и луг, и меня своими острыми клыками. Цежу сквозь плотно сжатые – чтоб не проерышилась мошкара – зубы:

– У-у, чтоб тебя разорвало!

От жары обмякли резиновые сапоги, в которые натряслось и колется сено. Совсем никудышная для покоса обувь! На что тяжелы кирзухи, а и в тех намного вольготнее. Дед, отец, Мишка сносили уже не по одной паре, а у меня кирзовых как не было, так и нет. Всё лето хожу в резиновых, которые с утра обороняют от росы, а в прочее время разъедают ноги жаром и потом.

– Так в резинках и помру! – бросаю камешек в отцов огород. – Другие-то ребятишки, посмотришь...

– Сдадим осенью картошку... – привычно отбояривается отец и, сняв очки, напряжённо смотрит на дорогу. – Вернулся... сборщик!

От ручья идёт-прихрамывает дядька Николай – средний дедов сын, отцовский погодок. Он приплыл с нами, чтобы набрать по холодку кислицы, а после обеда помочь с сеном. Поравнявшись, дядя Коля ставит ведро и садится в тенёк под кусты. Ведро крепко-накрепко, как дедова голова косынкой, обвязано куском наволочки. Однажды, возвращаясь с дальнего бора, дядя Коля оступился, ухнул кубарем вниз по тропе и посеял в заломах почти всю свою четырёхведёрную торбу. И всё из-за того, что поленился притянуть крышку! Теперь дядька осторожничает, и даже когда идёт по грибы, не забывает о спасительной тряпице. Ягоды не видно, но по тому, как вздулась ткань, можно догадаться, что ведро полно красной рясной смородины. Дядя Коля умеет брать ягоду! Даже удивительно, как с такими большими, как у него, руками можно так проворно работать. Сколько я ни гнался за ним, всё попусту: у дядьки уже на три ладони, а у меня едва закрывает донце.

– Пари-и-ит сёдня, – говорит дядя Коля, утираясь внутренней стороной парусиновой кепки.

– Сорок два в тени, – осведомляет отец. – Сводка пришла – сорок пять ожидается.

– Сколь?! – не верит дед.

– Сорок пять!

Дядя Коля сокрушённо качает головой.

– Чокнешься! – Я упал в заросли кровохлёбки и оттуда равнодушно слежу за разговором.

– Не в том дело, – поучает дед. – Картохе наливать надо, а земля – пыхун... Что мы исти будем?!

– Дак вот... – вздыхает дядя Коля. – Хлеб на корню осыпается – Сергей Петрович говорил... – Внезапно он оживляется: – Городские накатили! Мужик с бабой и ребятишки ишо. Мужик-то с пацаном рядом с машиной стали брать, а она потащилась с девчонкой к дальнему кусту... Помнишь, Миш, мы там собирали с тобой, года три, однако, назад? Где Юрьев-то косит, вверх по ручью? А там уж я сижу! – Дядя Коля загодя хихикает. – Смотрю: идут. А на кусте я-а-га-ды-ы! Красно! У меня уже почти полведра было. Ну, я давай ветками шуметь. Девчонка услышала, тянет мать за рукав: мол, пойдём назад. А эта нет, прёт! Я опять трещу ветками и носом – швырк, швырк! – нюхаю громко. Они: «Медве-едь, медве-едь!» Па-ле-те-е-ла она, чуть в штаны не наклала, девчонка позади неё! А я ведро добрал и по ручью спустился к Лене. Тут только на дорогу вышел...

Дядя Коля смеётся, оскалив белозубый рот.

– Уехали? – Дед недовольно смотрит на сына.

– Кто?

– Городские-то. Про кого говорим?!

– Уехали...

– А машинёшка какая у них?

– «Нива». Красная.

– И машина у людей есть, по какой, спрашивается, им эта ягода?! – Дед никак не может этого понять. У него не укладывается в голове. – Или брали бы тогда где-нибудь поближе, неужто нельзя? За столько километров едут... А бензин сколь стоит?! Где, интересуюсь, люди деньги берут?

– Дак вот... – Дядя Коля грузно поднимается, чтобы отвязаться от старика. – Пойду чаю сварю! Сено-то почти сухое, – пинает валок. – Через час совсем дойдёт. Только у ручья сырое...

– А мы его на верхушки! Там не загорится.

4

Грабли то и дело валяются из рук: занемев и став как будто чужими, пальцы уже с трудом держат отполированное до золотистого мерцания древко...

«В сущности, кто я такой тут есть? Младший помощник старшего конюха?!»

Сначала я ворочал, убирая из травы принесённый половодьем хлам; потом – стерёг, как собачонка, лодку с мотором, когда уходили косить или копнить далеко от реки, в кулдук или к ручью; затем мне вручили вилы: «Раскидывай валки, чтоб скорее сохли!»; прошлым летом дослужился до граблей. И только на тринадцатом году (в кои-то веки!) выклянчил наконец косу...

Ещё весной я воровски заглянул под высокую крышу дедовского амбара и обомлел: косовища заставленных за перекладину литовок свисают в сумраке, как деревянные сосульки! Мою ершовую душонку настолько поразили несметные богатства старика, что я бросился искать пути для его раскулачивания. И вот перед нынешним сенокосом непреклонный дед, подточенный моим нытьём и неустанным ходатайством бабки, извлёк из амбара небольшую лёгкую литовку и под пристальным вниманием двух настороженных глаз насадил на косовище.

– Где у тебя пуп?

– Там же, где и у тебя! – со смехом ответил я глупому старику.

Дед посмотрел на меня так, как если бы ему стало жаль косы.

– Я ладом спрашиваю! – насупил брови. – Так же и отвечай мне... А ну-ка!

Давясь от смеха, я задрал рубаху. Прижав пятку косы к земле, дед подогнал берёзовую рукоятку с моим пупком вровень и застопорил верёвкой, намотав её восьмёркой.

– Учись, пока дедушка жив. Отец-то у тебя – только с перфельчиком по деревне бегать...

– А не надо писать?!

Вечерами, когда мать процедит молоко, отец, постелив на стол газету, сидит в кухне, опустив кудрявую голову, и что-то царапает в школьной тетрадке, наутро отсылая написанное в город с водителем рейсового автобуса.

– Поможет это, что ли то, деревне-то?! Когда – всё...

– Ну, косарь, косарь, егги вашу мать! – смеялась бабушка на другой день, когда со сверкающими глазами я пошёл на покос, по примеру старших небрежно закинув литовку на плечо. Затворяя за нами ворота, шёпотом наказывала старуха, зная, что на лугу никто словом не поможет, скорее подзатыльников наваляют: – С плеча, парень, не бей, а так эт заводи от себя – и пошёл, пошёл! Главню, не торопись. Литохка – она сама косить научит...

Я был поручен Мишке, поскольку своего точильного бруска мне не доверили («Лапы обрежешь!»), и лопатить мою литовку должен был брат. Для начала мне разрешили обкашивать у кустов, вдоль дороги, – и я исправно сшибал мураву, серным сполохом на спичке черенка мелькало кривое лезвие косы. Да недолго длилось моё счастье! Пару раз врезал о камень, а дед уж на попятную:

– Добрую литовку угробишь! Никого в меня нет... – И отобрал косу.

А виноват я был, что не выжгли паберегу по весне, как путные-то люди делают, и косу вязала спутавшаяся летошняя отава, в которой ни черта не видно?! Отец вон сколько литовок уханькал, пока мало-мало косить научился...

Как бы там ни было, но вот я снова приставлен к граблям и лишь иногда получаю разрешение сделать прокос-другой. Но только, конечно, это совсем не то, что иметь собственную косу!

«Возьму и сломаю черенок! Интересно, что будет? Дед, пожалуй, так заорёт, что в деревне повесятся собаки...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.